

Приятного чтения!

Тихая жизнь

Санька — это я сам, Гринька — мой закадычный друг, а о девчонках потом.

Живем мы, как говорит мой отец, в захудалой глухой деревушке. А почему она глухая — нам совсем непонятно. По-моему, отец ошибается. Наша деревня, наоборот, очень даже звонкая: на одном конце разговариваешь — на другом все слышно. А если посильнее крикнуть или сунуть два пальца в рот и свистнуть, аж по всему лесу так и покатится.

Правда, возле нашей деревни нет шоссейных дорог, а железных и подавно, но говорят, что скоро проведут. А пока, конечно, добраться к нам очень даже трудно. А осенью прямо слезы. Только на гусеничном тракторе, да и на нем знаючи. И знаючи-то Митька, наш механизатор, на прошлой неделе влетел в колдобину возле Лисьего бору чуть не по самую трубу. Мужики поначалу смеялись над Митькой, а потом, когда откапывали трактор, ругали его на чем свет стоит.

Мы тоже помогали откапывать. Да и не только мы, все наши мальчишки копошились возле железной громадины. Еле вытащили двумя тракторами и поставили на берегу реки у кузницы.

Митька потом целую неделю отмывал свою железину. А после крутил-крутил заводную ручку, взмылился, плюнул и разобрал трактор на мелкие части. Видно, в нутро грязь попала.

А нам с Гринькой хоть в нутро грязь и не попала, а на штаны и куртку нацепилось, пожалуй, не меньше, чем на этот самый трактор.

Мать как взглянула на меня, так и ахнула. Она и сейчас нет-нет да и треснет меня по загривку и все приговаривает.

— Погибели на тебя нет, соломенная голова.

А штаны и куртка так и висят в сарае. Мать постирала и повесила сушить их. А на днях ударил мороз, и они стали как железные. Грохнешь по ним палкой — звенят. Но меня это не расстраивает. Пусть висят сколько им хочется. Мать с отцом поругали-поругали и купили мне новые штаны и куртку. Правда, немного великоватые. Рукава приходится подгибать, а штаны засучивать. Но я не обижаюсь. Мне всегда покупают одежду, как поясняет мать, с запасом. А на что мне нужен этот запас, убей не пойму.

Прошлым летом забрались мы к Марье Шиковой в огород за помидорами, а она увидела. Схватила прут — и за нами. Все мальчишки убежали, и я бы убежал — я не тише их бегаю, — но у меня на штанах запах распустился. Я запутался и упал. А Марья и рада. Думала, что догнала, и так меня отходила, что я после целых две недели глядеть не мог на чужие огороды.

А еще говорят, что запас карман не дерет.

Однажды подрались мы с Гринькой, и подрались-то из-за пустяка — из-за сломанной лыжи. И не то чтобы подрались, скорее он меня вултузил, а я только отмахивался. Он длинный верзила, и рукава у него по локти, а у меня с запасом. Пока я искал кулак в своем рукаве, он мне весь нос расквасил и лыжу забрал. Такая драка не по-честному, я так и сказал Гриньке, а он прищурился и говорит:

— А зачем ты хотел мою лыжу взять?

— Так это, — говорю, — моя лыжа. Я ее нашел первым.

— Нет, моя, — говорит Гринька, — я ее увидел первый.

— Где же, — говорю, — Гриньк, ты ее увидел, ежели я ее нашел?

— А я ее, — говорит, — еще летом видал.

— Ну и что, что летом. Мало ли что я летом видал.
 — А что, — говорит, — ты летом видал?
 — Ну...
 — Вот, — говорит, — и ну.
 Я разозлился и говорю:
 — Танк я видал.
 — Вот, — говорит, — и бери свой танк. А лыжа моя.
 — Так как же, Гриньк, я его возьму?
 — А я, — говорит, — не знаю.
 — Не знаешь, — говорю, — а за что ты меня по носу двинул?
 — А я, — говорит, — не двигал, я только дотронулся.
 — А-йя, — говорю, — дотронулся, коли кровь пошла.
 — Это, — говорит, — у тебя нос такой хлипкий.
 — Хлипкий, у меня искры из глаз посыпались.
 — Искры, — удивился Гринька, — врешь, я что-то не видал.
 На этом мы и разошлись и не встречались долго. Пожалуй, до самой зимы. А потом нам надоело сердиться, и мы помирились.
 Гринька — он ничего, отходчивый. Он первый пришел ко мне и говорит:
 — Сань, пойдем на лыжах кататься?
 А я говорю:
 — Да я, Гринь, уроки не выучил.
 А он говорит:
 — Брось, все равно все книжки не выучишь.
 — И правда, Гринь. Учучу-учу и никак не пойму.
 — Чего?
 — Да вот о расширении тел.
 — О! — вскрикнул Гринька. — Это проще простого. От тепла тела расширяются, а от холода сжимаются. Например, летом дни длиннее, а зимой короче.
 Я посомневался, посмотрел на Гриньку: шутит он или серьезно. Гляжу, он такой важный, говорю:
 — Ладно, Гриньк, пойдем кататься.
 Вышли на улицу. Смотрю, у Гриньки две лыжи, и обе отремонтированы. Одна — впереди ремня, другая — позади. А так лыжи что надо.
 Гринька заметил мое восхищение и говорит:
 — Сам сколачивал. Надежно. Вишь, сколько гвоздей.
 — А как же, — ответил я, — вижу. — Потрогал лыжи руками. — Почти что железные.
 — То-то, — загордился Гринька, — износу не будет.
 Он вскинул лыжи на плечо, и мы зашагали на гору. И не на ту, на которой катается всякая там чегашня, а на самую крутую. По дороге к этой горе к нам прицепился младший Гринькин брат Васек.
 — Ты кататься не будешь, — отрезал Гринька. — Можешь не ходить. Соплив больно.
 — Да я, Гринь, так, — проканючил Васек. — Я, Гринь, только поглядеть.
 — Поглядеть, это можно, — милостиво разрешил Гринька.
 На вершине горы мы с Гринькой немножко поспорили. И ему хотелось катиться первым, и мне.
 Потянули палочки. Гринька говорит:
 — Длинную вытащишь — я поеду, короткая попадется — ты покатишься.
 Потянул я палку — длинная. А свою Гринька торопливо махнул в сторону. По-моему, у него обе палки были длинные.
 Прилаживал лыжи Гринька долго и старательно. Ремни привязал к валенкам бечевкой. Пошаркал взад-вперед, чтоб получше скользили, поглядел вниз, зажмурился и...

Под горой, вправо от нас, стояла старая-престарая баня без крыши. Она была настолько дряхлая, что в деревне никто не знал, чья это баня и сколько времени она тут торчит.

И вот гляжу: Гринька что-то все воротит и воротит к этой бане. Кричит что-то, здорово так кричит, а мы с Васьком никак не поймем — что.

— Поет это он, — сказал Васек.

— Да нет, Васьк, — сказал я, — не похоже. И баня-то совсем рядом, и визжит он, как поросенок недорезанный.

— Радуетя.

Вдруг Гринька подпрыгнул, как козел, ударился об снег, подскочил и кулем брякнулся в угол бани. Из бани только труха посыпалась.

— Уу-х! — выдохнул Васька. Мы сбежали вниз.

Гринька, как циркач, кувыркался в сугробе, зажал голову руками и орал. Ох и голосище у него прорезался!

К месту «аварии» с соседних пологих горок стекались малыши. Они осматривали развороченный угол бани, с радостным гомоном хватали гнилые осколки и восхищенно повторяли:

— Вот это да!

Гринька, слышав голоса, уселся посреди сугроба, тупо огляделся. Встал.

Мы с Васькой переглянулись. Нам показалось, что Гринька здорово-таки поумнел.

Шапки на нем не было. Через всю верхнюю половину его лба тянулась огромнейшая шишка, отчего лоб у Гриньки стал высоким и ужасно выпуклым, как у настоящего ученого или поэта.

А Гринька, не обращая ни на кого внимания, молча подошел к бане и принялся ее раскидывать. Мы последовали его примеру, и скоро от трухлявой постройки остались только воспоминания да на Гринькином лбу все распухающая шишка.

Расквитавшись с баней, Гринька посмотрел на свои ноги (на валенках остались лишь ремни с бечевами) и сердито потребовал лыжи. А где их возьмешь?

Малыши перепали на месте Гринькиного приземления весь снег — и все напрасно. Вместо лыж Гриньке подали смятую, рыжую от трухи шапку.

Гринька ударил ею о коленку и попробовал надеть на голову, но...

— Ничего, — успокоил нас Гринька, — дома есть старая отцовская. Она будет как раз.

— А не мала, Гринь? — робко сказал Васек.

— Она порванная — влезет. И вдруг спросил:

— Спички есть?

— А что, Гринь?

— Костер бы запалили. Вишь, сколько дров.

Малыши ликующе взвыли:

— Костер! Костер!

Я побежал домой за спичками.

Возле костра малыши тесно жались к Гриньке, с завистью смотрели на его багровую шишку. Иногда кто-нибудь не выдерживал и тихо спрашивал:

— И не больно, Гринь?

— Ничтяк.

— И нисколечко?

— Ну.

Малыши вздыхали и украдкой ощупывали свои лбы. Каждому хотелось иметь свою такую шишку и было страшно. Ведь своротить лбом угол бани не так-то просто. И после этого придумать такое — костер. А он полыхает, искры к небу летят.

Гринька был герой. Но это было только началом его славы.

На другой день в школе первоклашки ходили за ним табуном, а старшеклассники и учителя почтительно уступали ему дорогу и тихо шептали:

— Ну и башка!

Ползли слухи, что Гринька своротил головой целую баню. Гринька ходил зазнайстым гусакom. Даже на меня, на своего лучшего друга, смотрел этак свысока.

Во время большой перемены он отирался в уборной, где в зимнее время собиралось все избранное общество курильщиков. Теснота была в уборной — не пролезть, дымище — хоть ножом режь.

Гринька вертелся у десятиклассников на глазах, хотел услышать от них похвалу, но его почему-то подняли на смех. А один из парней притянул Гриньку к себе и, разворошив волосы на его голове, постукал по ней указательным пальцем.

— Чегой-то ты? — обиделся Гринька.

Но парень равнодушно отвернулся и заявил соседу:

— Я думал, у него чурбан вместо головы.

Гринька рванулся от парня, протиснулся ко мне и нарочно громко, как бы в отместку всем курильщикам, проговорил:

— Пойдем, Сань, отсюда. У меня голова трещит от этого дымища.

Из школы мы шли не спеша. В портфелях у нас покоилось по жирному «гусю», и торопиться нам было как-то не с руки. К тому же и погода была не в пример отметкам в наших дневниках — отличная.

На кустах рябиновыми гроздьями горели снегири. В прозрачном воздухе искрилась морозная пыль. Снег под ногами хрустел, словно сочные кочаны капусты.

Гринька яростно раскручивал впереди себя свой старенький портфель. Он, такой-то верзила, изображал из себя не то самолет, не то ветряную мельницу. Ручка у портфеля не выдержала нагрузки, и портфель улетел далеко в сторону.

Из-под куста выпрыгнул на поляну и остановился здоровенный русак. Повертел головой, помахал нам длинными ушами-ножницами, скакнул на бугор и скрылся. Мы не успели и рты раскрыть от удивления. Заулюлюкали и засвистели уже потом, когда русака и след простыл. И вот тут-то Гриньку и осенило. Его с шишкой часто осеяло.

— Эх, ружье бы! — вскрикнул он и вцепился в рукав моего пальто. — Сань, давай сделаем ружье, а?

— Настоящее?

— Да нет. Поджигное.

— И за зайцами, да?

— Ага. На колхозном огороде они знаешь какие! А сколько их... Я однажды чуть палкой не убил одного. Поболе этого. А из ружья...

Гринька зажмурился.

И вдруг:

— Бух-бах, бух-бах, бух-бах! И пошел, и пошел палить.

Вечером мы смастерили самопал.

Гринька ликовал. Он вешал самопал то на плечо, то на шею, то по-солдатски ставил его к ноге, то вскидывал и целился: наконец поставил в угол сарая и задумался.

— Ножи надо.

— А может, так?

— Не, Сань, без ножей нельзя. Вдруг волк или медведь. Ранишь, придется врукопашную схватиться.

— Верно, — вздохнул я.

Ножи сделали из старых брошенных кос. Не ножи, а сабли. Только загнуты в обратную сторону. Рукоятки обмотали тряпками.

В воскресенье утром привязали тесаки к поясам и...

Нет, надо было поймать собаку. Что это за охота без собаки! Ни один уважающий себя охотник не выйдет на промысел без верного друга.

Для нас таким другом был Тарзан.

Он бегал ничейным — общеколхозным, и жизнь у него складывалась по-настоящему собачья. Квартировал он где придется, кормился отбросами на помойках да тем, что дадут мальчишки. А мальчишки народ не ахти сознательный. Иногда и покормят, а иной раз такого пинка дадут...

Тарзана мы нашли у мусорной ямы за домом председателя колхоза. Здесь была его лучшая кухня.

— Тарзан, ко мне, — позвал Гринька.

Пес настороженно повернул голову и скакнул в сторону.

Гринька вынул из-за пазухи припасенный на охоту ломоть хлеба.

Тарзан вмиг сменил свое недоверие на горячую преданность. В два прыжка он очутился возле наших ног, завилял хвостом, запрыгал и даже унижительно поползал на брюхе.

Пока он так заверял нас в своей искренней дружбе, я посадил его па веревку.

Горбушку Гринька снова спрятал за пазуху.

Тарзан жадно облизнулся.

— Нет, друг. Поймай сначала зайца.

Пес, ободренный его словами, начал вести себя совсем легкомысленно. Нам это стало неприятно. Да и кому хочешь не понравится. Представьте себе: мы идем вдоль деревни, идем почти что с настоящим ружьем, идем не куда-нибудь, а на охоту. И собака должна чувствовать это и держаться степенно, озабоченно. А он, бестолочь, только мешал нам идти, скакал перед нами на задних лапах и все лез к Гриньке целоваться.

За деревней Тарзан одумался. Он, видимо, понял, что рассчитывать на спрятанную горбушку не приходится, и загрустил. Начал печально оглядываться, отставать.

Я потянул его силком.

Так мы и охотились. Я шел впереди, за мной на веревке тащился пес, а за ним, погоняя его, как телка, шел с самопалом на плече Гринька. Мы обошли весь колхозный огород, где, как уверял Гринька, зайцев хоть за уши цапай, облазили все долы и овраги, измерили шагами поля вокруг деревни, измучились — и все без толку.

Звери-зайцы как вымерли.

— В лесу они, — решил Гринька, — осины гложут.

Я вздохнул.

— И нам бы.

— Что?

— Поесть.

Гринька достал горбушку и разломил ее на троих.

— Поедим — и в лес.

Я едва не подавился.

— А не завтра, Гринь? Уж больно ноги гудят.

— Мы с краешку, Сань. Посмотрим и вернемся.

— Если с краешку.

— В осиннике. Там и волки бывают.

— Волки... А что ты, Гринь, все ходишь и ходишь с ружьем. Дай и я похожу.

— Оно тяжелое, Сань. А ты и так устал.

— Я уже не устал, Гринь.

— Зато ты с собакой, Сань.

— С собакой... Вот, на вот, возьми ее. А ружье давай.

Я снял с Гринькиного плеча ружье и повесил его к себе на шею. И удивительно. Во мне

сразу прибавилось и храбрости, и бодрости. А Гринька скис.

— Лучше домой бы, Сань.

— Ничего. Успеется.

Я выбрался на дорогу и торопливо зашагал к лесу. На опушке Гринька остановил меня.

— Сань, возьми Тарзана.

— Зачем?

— Я...

Гринька расстегнул пальто и полез в кустарник.

— Только ты далеко не уходи, — крикнул он.

— Ладно, — не оборачиваясь, отозвался я, ускоряя шаги. Мне хотелось уйти как можно дальше. Сейчас я был настоящим охотником. С ружьем и собакой. А когда Гринька нагонит меня, или ружье, или собаку придется отдать.

На повороте я оглянулся. Гриньку не видно. Побежал. Дорога распалась на две тропы. Не задумываясь, я повернул на ту, которая вела глубже в лес.

— Э-э-э-ге-э-э! — зазвенел Гринькин голос. Я не ответил. Припустил сильнее.

— Са-а-ня-а-а!

Голос удалялся. Значит, Гринька пошел другой дорогой. Я остановился. Надо отозваться. Глубоко вдохнул в себя воздух и замер.

Из-под низкой разлапистой ели, как из шалаша, вылетела грузная черная птица. Отлетела в сторону и тяжело опустилась па осину.

Дрожащими руками я снял с шеи ружье, согнулся и, осторожно переставляя ноги, начал подкрадываться. Шаг. Еще шаг. Предательски скрипнул снег. Я замер. Птица наклонила голову, прислушалась. Я сдвинул дыхание. Шаг. Еще шаг. Под валенком глухо треснул сук. Я вздрогнул. Птица сидела уже на другой осине — дальше. От обиды у меня задрожали губы.

— Ну постой же, не улетай.

Дзи-и-инь! — разбила морозную тишину синица.

— Ну что тебе стоит. А мне...

Я закрыл глаза. Пройти по деревне таким петухом — о-о-о!

У меня аж дух перехватило. Все мальчишки рты поразевают. А Гринька...

До моего слуха долетел далекий, чуть слышный голос.

— Сейчас, Гринь, сейчас, — прошептал я, опомнившись. Выглянул. Птицы нет.

— Ушла?!

Огляделся. Голые осины.

Совсем была моей и ушла.

От досады я пнул Тарзана ногой.

— Ну, чего стоишь, пошли.

Собака рванулась в сторону и потянула меня за собой. Стоп. И тихо-тихо отступил назад. Птица не улетела. Она сидела совсем недалеко от меня, справа, на посохшей осине, за зеленой копной сосны.

Я подтянул к себе собаку, погладил ее, шепнул:

— Она здесь, Тарзанушка, здесь.

Шаг. Еще шаг. Стараюсь не дышать. Тишина. Как дятел, стучит сердце. Шаг. Еще шаг. Только бы не улетела.

Медленно, осторожно отвел за спину перегородившую дорогу ветку. Самопал наготове.

Вот и сосна. Шаг. Еще шаг. Застыл.

— Сидит.

Зажал Тарзана между ног, чтоб не вспугнул птицу. Вынул спички. Вставил самую лучшую спичку под проволоку — «запальник». Просунул ружье сквозь сосновые лапы, прицелился. Руки дрожат. Спокойнее. Шаркнул коробком о спичку. Взметнулось пламя. Я покачнулся и повалился в снег.

Я не плакал. Я даже не чувствовал боли. Меня сковал ужас.

Глаза...

Мне выжгло глаза. Я протирал их снегом. Поднимал пальцами веки. Тьма.
 — О-сле-еп?!
 Я испуганно вскочил и бросился бежать. Запнулся. Упал. Больно ударился плечом о ствол дерева. Пополз на четвереньках. Остановился.
 Куда я? Что со мной?
 В голове гул. В ушах звон, лицо в огне. Нестерпимая резь в глазах.
 — Ослеп!
 Я зарылся головой в сугроб и заплакал.
 Вдруг кто-то потянул меня за подол пальто. Я сжался.
 Лязг зубов. Повизгивание.
 — Тарзан!
 Я схватил его и прижал к себе.
 — Ты не убежал, да? Ты не бросил меня, да?
 Тарзан вырвался и снова потянул меня за подол пальто, заурчал.
 Я тревожно сел.
 — Тарзанка, что ты?
 Собака обнюхала мое лицо и сердито затыкала.
 Преодолевая боль, я поднял пальцами веки. Блеснул мутный свет и, дрогнув, погас.
 Мелькнула надежда, и тут же обуял страх. Куда, в какую сторону идти?
 Встал.
 Тарзан радостно заскулил и запрыгал. Уперся передними лапами в мою грудь, лизнул мой подбородок. Я поймал его, нащупал на шее веревку. Он только этого и ждал. Веревка натянулась.
 — Тарзанушка, умница.
 Я понял, что он выводит меня из лесу домой. В деревне мое появление взбудоражило всех не меньше, чем пожар.
 Подбежал запыхавшийся Гринька.
 — А ружье где? — И замолк. Заикаясь спросил: — Разорвало?
 — Не знаю.
 — Наверно. У тебя все лицо вздутое и как чугун...
 — Черное?
 — Тише. Отец твой.
 У меня задрожали ресницы.
 — Папа...
 Отец взял меня на руки и быстро зашагал.
 — Глаза-то хоть видят?
 — Немножечко, пап.
 Отец помолчал.
 — Непутевый ты уродился. В меня, что ли?
 — Наверно, пап.
 — Похоронишь ты свою мать заживо.
 — А ты не говори ей, пап.
 — Я не скажу. Твоя голова ей все скажет.
 В больнице врач открыл мне правый глаз, и я увидел печальное лицо отца. Врач спросил:
 — Видишь?
 — А как же.
 Открыл второй глаз.
 — Видишь?
 — Слеза текет.
 — А свет?
 — Свет вижу. Желтый.

— Счастливо отстрелялся, охотник.

Гринькины тревоги

Болею я до обидного недолго. Все люди болеют как люди, а на мне заживает, как на кошке. Не любит меня хвороба да и только. Иногда вроде бы и подцепишь грипп, нос уже завалит — дышать нечем. Еще бы самую малость — и можно в школу не ходить. Так нет. Чихнешь раза два, высморкаешься как следует — и все прошло. И голова никогда не болит. Ну что это за голова! Вон у отца чуть ли не через день в висках стучит. А у меня хоть бы разок стукнуло.

И так вот всегда.

Кому охота похворать — не хворает, а кому страсть неохота — из больницы не вылезит.

Мать как-то порезала хлебным ножом палец на правой руке, так целый месяц охала. Палец неделю нарывал, неделю прорывался нарыв, а потом прорвался и две недели подживал.

Ежели бы у меня так-то.

Но у меня так не болит. А то бы я весь ходил в болячках.

Однажды, верно, и у меня вскочил чирей. Огромный такой. Но бестолковый. Выскочил не на пальце и не на ноге, а на шее. Нашел тоже место. Какой от него прок на шее-то? Только учителям в школе радость. Преподаватель по литературе посмотрел тогда на меня и многозначительно изрек:

— И от фурункулов, оказывается, бывает польза великая. После урока он подозвал меня к столу и все внушал, что чирей-де трогать никак нельзя, а резать и тем более. Что яблоку необходимо назреть, тогда оно упадет само.

Но я не послушался совета и тут же сходил в больницу. Охота больно сидеть на уроках истуканом.

— Разрезал все ж таки, — строго спросил учитель на другой день, когда я обернулся на заднюю парту.

Я встал.

— Разрезал, Пал Петрович.

— Оно и видно. Садись.

— Он уж подживает, — улыбаясь во весь рот, сообщил я.

— А жаль.

Класс всколыхнулся от хохота. Но я не обиделся. Пал Петрович — он шутник. Его все любят. И я тоже, хотя и живем мы с ним не особенно дружно. Я-то ничего. Он что-то все сердится.

В прошлом году он задал нам на дом прочитать «Тараса Бульбу» и рассказать своими словами. А я не прочитал. Почему? Не помню. И конечно, он меня вызвал к доске, спросил:

— Понравилось произведение Гоголя?

— Ище как, — не моргнув соврал я.

— Рассказывай.

— Чего?

— О чем читал.

— О Тарасе, — шепнули с первой парты.

— О Тарасе, — повторил я.

— И что же?

Я молчу, уши наострил. Шепот:

— У него было два сына.

— У него было два или три сына. — «Три» я добавил на всякий случай. Я недослышал сколько.

— Что? Повтори-ка.

На задней парте Гринька показал два пальца.

— У него было два сына.

— Так, продолжай.

Я прислушался. Ни звука. Плохо. Начал соображать. Почти все взрослые книжки кончаются женитьбой. Гоголь был серьезным писателем, значит, должен кончить как и все.

— Что же дальше было?

— Дальше?

— Да.

— Тарас женился на Бульбе.

— О-о-о! — вскрикнул учитель и под громкий хохот выбежал из класса.

Во время перемены в преподавательской раздавались стоны. По классам учителя расходились с опозданием, с заплаканными глазами.

Павел Петрович зашел к нам за портфелем, сказал:

— Памятник тебе, Щепкин, надо поставить.

Повернулся и молча вышел. С тех пор он часто вспоминал обо мне. Я его, как видите, тоже не забываю.

Не был в школе всего десять дней и уже говорю о нем. А у меня есть события и поважнее.

Во-первых, все мальчишки нашего класса ходили к арифметичке колоть дрова. Настукали дров, говорят, не так много, а конфет съели целую поленицу. Мне и то принесли — вкусные.

Во-вторых, Тарзан теперь мой и никому я его не отдам. Я сделал во дворе для него конуру (отец велел), но Тарзан в ней мало бывает, а больше со мной в комнате. Он стал гладким. Поправился. Предан мне, как собака. И удивительно: у него появилась злость. Тронешь меня — зарычит. Прошлый раз Васек в шутку толкнул меня, так ушел домой со слезами: Тарзан отхватил у него полштанины.

В-третьих, и это самое ужасное, Гринька влюбился. И на этот раз, пожалуй, без возврата. Влюбился по самые уши. Эх, Гринька, Гринька. Жалко мне его. Друг все ж таки. Но что поделаешь? Он и сам не рад. Он и сам не понял, как все произошло. Он вообще в этом смысле бестолковый. Поллюбит и сам не знает за что. Увидел девчонку незнакомую и сразу втрескался. Разве так можно?

— Не, Сань, я не сразу, — оправдывался Гринька.

— Как же не сразу, коли она только приехала.

— Она, Сань, не только. Она в тот день, как мы на охоту ходили.

— Слышал. К бабке Орине?

— Ага. Ее дед привез. Она дочь его дочери. Говорят, ей чистый воздух нужен.

— А что, Гринь, или уж в городе нет его?

— Отколь я знаю. Значит, нет, когда привез.

— И она в нашем классе учится?

— В нашем.

— Она красивая, Гринь?

— Красивая, Сань, страсть! Маленькая. Глаза, как черные тараканы, юркие. А башковитая — ужас. Что ни спросят на уроке — все знает. Но просмешница.

— И любовь крутит?

— Нет, Сань, она не крутит, это я кручу.

— А она знает?

Гринька испуганно округлил глаза.

— Ты что... Не вздумай сказать.

— Надо, чай.

— А то просмеет, как тебя.

— Меня?

— Ну да. Девчонки рассказали ей, что ты по глухарю пальнул из самопала, а она и

говорит: «Вот как, у вас и вундеркинды водятся».

— А по губам она не хочет?

— Ты, Сань, не тронь ее.

— Это почему?

— Не тронь и все.

— А я не погляжу, что она твоя любовница.

— Сам ты любовник, губан.

— А ты не ругайся.

— А ты не грозись.

— Ну и уходи из нашего дома.

— Ну и уйду.

Гринька сгорбился и шагнул к порогу, обернулся.

— Смотри!

Он вытянул вперед руку и, показав мне измазанный в чернилах кулак, вышел. Я подошел к окну.

Гринька сошел со скрипучих ступеней крыльца и грустный, какой-то задумчивый побрел вдоль улицы.

«Видно, нелегко любить, — подумал я, провожая его глазами. — Зря мы поругались».

Я думал, что Гринька теперь долго не покажется в нашем доме, но он пришел на другой же день под вечер. Я готовился в школу — собирал портфель.

— Сань, я не обижаюсь, — сказал он.

— Я тоже, Гринь.

— Знаешь, горько что-то.

— Из-за Маринки?.

— Из-за нее, Сань. Двойку я сегодня схватил по географии.

— Так и что? Не впервой.

— Обидно.

— Подумаешь.

— Она подошла в перемену ко мне и говорит, да громко, на весь класс: «Такой большой и так плохо учишься. Постыдился бы». И никто ни слова.

— А ты что?

— Что. Стою как пень и моргаю. Покраснел, говорят. Хуже, чем перед учительницей. Срам.

— Влип ты, Гринь.

— Влип, Сань.

— Разлюбить надо.

— Пробовал.

— Не вышло?

— Нет. Только хуже.

— Что?

— Видеть ее хочется.

— К старой ведьме, Марфе, сходить надо, Гринь. Она, говорят, отворяживает эту любовь.

— Не знаю, Сань. Прошлый раз, помнишь, у Петуховых бык заболел. Врач лечил — ничего. Марфу позвали — бык подрывал ногами и сдох.

— Да... Это пожалуй...

— А как хоть, Гринь, ты ее любишь?

— Как и все.

— Ну а как?

— Не знаю.

— Чудно.

— Чудно, Сань. Пойдем погуляем.

— В такой-то морозище!

— Он не очень, Сань, лют. Он только поначалу, а потом привыкнешь — ничего.

— Зябко, Гринь. Страшно.

— А ты, Сань, полюби тоже, а? И мороз будет не в мороз.

— Что-то не хочется, Гринь.

— А ты подумай, подумай о ней — и полюбишь.

— Ну, подумал.

— И ничего?

— Чутьочку чего-то.

— А ты о ком думал?

— О Маринке.

— А ты не о ней. Маринка моя. Я ее уже зачурал. Ты о другой. О Нинке. Она тоже хорошая.

— Она больно толстая, Гринь.

— Выправится, Саиь. Влюбится и отощает.

— Вот разве отощает...

— Обязательно. Любовь — она кого хочешь высушит.

— И меня?

— Тебя нет, Сань.

— Это что же? Ее высушит, а меня нет?

— А чего тебя сушить-то? У тебя и так одни мослы.

— У самого-то? — обиделся я. Гринька с сожалением вздохнул.

— И у меня, Сань. Загрустил. Сказал раздумчиво:

— Девчонки — они любят здоровых.

Я осмотрел свои бицепсы, сравнил себя с Нинкой и тоже опечалился.

— А что, Сань? Давай спортом займемся?

— А как, Гринь?

— У нас в сарае гиря есть. Пудовая. Поднимать, опускать. Руки будут — во! Грудь — во!

— Балда, чего же ты раньше-то молчал. Тащи.

— Сейчас, Сань.

Гринька схватил шапку, побежал.

Их дом был напротив нашего, а сарай за домом, на приусадебном участке. В окно я увидел Гриньку. Вот он подбежал к сараю, снял замок и пропал.

Жду пять минут, десять, двадцать — нет. Прошел час, наверное, Гринька не показывался, что он там, умер, что ли?

Наконец появился. Пальто в земле. Выкатил гирю. Поставил ее, ухватился обеими руками, растопырил ноги — зашагал, зашагал и бросил. Тяжело. Поднял опять. Пошел, пошел, снова бросил. Вернулся в сарай. Вышел с санками.

Гиря действительно была неприподъемной. В комнату мы ее втаскивали вдвоем.

А чего ты в земле весь вымазался? — спросил я.

— Чего-чего. Отец забросил ее на настил. — Гринька сердито пнул валенком гирю. — Я сошвырнул ее оттуда. А она, как бомба, ух! — и прямо в железный чан. Я ее еле выволок оттуда.

Гринька смахнул рукавом пот с лица, сказал:

— Попробуй-ка подними.

Я уцепился за гирю, с трудом оторвал ее от пола, покачал и бросил. Пол дрогнул, с потолка посыпались опилки.

— Что?! — заулыбался Гринька.

— Хороша.

— Давай вдвоем?

— Давай. Приподняли.

— Выше, выше, — командовал Гринька, — выше. И не удержали.

Раздался треск. Гирия улетела в подполье. Возле наших ног, в подгнившей доске, зияла огромная черная дыра. Запахло влажной землей, прелью и... поркой. Настроение упало. Я взглянул на часы.

— Скоро отец придет.

— Гулять охота, — позевнул Гринька.

— А гирию?

— Пусть она, Сань, там полежит. Что ей сделается? Вечерело. Синеватый снег, синее продрогшее небо. На улице ни души. Только я да Гринька, мороз и луна — большой выпуклый глаз тишины.

— Куда мы идем, Гринь?

— В верхний конец.

— Любовь крутить, да?

— Поглядим на их дома, на окна, а случись — и их увидим.

— Эка невидаль. В такую-то стужу.

— Это потому, Сань, что ты еще не совсем полюбил.

— У меня, Гринь, коленки прихватывает.

— А ты их, Сань, варежкой потри, варежкой.

— У меня, Гринь, и руки-то не корчатся.

— И у меня, Сань.

— Тебе хорошо. Ты любишь.

— И ты, Сань, полюбишь. Терпи.

— А долго?

— Тихо.

Гринька впился глазами в окошки. А чего впился? Стекла как простыней закрытые.

Скрипнула дверь. На крыльцо вышла бабушка Орина. Выплеснула из ведра помой и скрылась.

— Вишь, — шепнул Гринька посипевшими губами, — бабушку уже увидели.

— Ну и что?

— И девчонок, может, увидим.

— Домой бы.

— Хлипкий ты, Сапъ.

— Сам-то позеленел.

— Позеленел, а домой не хочется. Я вчера до-о-олго гулял. И ничего. Уши только немного припухли. Зато видал.

— Девчонок?

— Ага. Они от Маринки пробежали к Нинке. Смеются.

— А ты?

— И я улыбаюсь.

— И все?

— А чего же еще-то? Пойдем к Нинкиному дому сходим.

— На бабушку Матрену посмотреть?

— Черствый ты, Сань. А друг тоже. Не можешь ты любить.

— Я бы, Гринь, полюбил, да уж больно дюжий мороз-то. У тебя вон и брови-то побелели, а девчонок-то нет.

— Они выйдут, Сань. Они тоже нас любят.

— Не знаю, Гринь. Я чего-то не видал, чтобы они около нашего дома толкались.

— Они девчонки — стыдятся.

— Как хошь, Гринь, а я домой пошел. А ты оставайся. — Я погуляю, Сань.
Гринька содрогнулся от озноба, съехался и, хлопая рука об руку, зашагал к Нинкиному дому.

Я постоял в раздумье и вприпрыжку побежал домой. Не околевать же из-за этой любви. В дом к себе я вошел, как в чужую избу, — робко. Остановился у порога.

Отец плотничал — заменял в полу доску.

— Явился? — спросил он, вынул изо рта папиросу. Строгости в его голосе не слышалось, и я немного осмелел.

— Явился, пап.

— Какой-то бес пол у нас изуродовал. Ты не знаешь?

— Я это, пап. Прыгнул со стула и...

— Не ушибся?

Отец улыбнулся. Я опустил глаза.

— Не, пап. Нисколечко.

— А гирию-то пошто прихватил с собой?

— Какую гирию?

— Вот эту.

Отец указал в угол. Я покосился.

— С Гринькой мы, пап. Мы это...

Я усиленно задвигал руками и пощупал свои мускулы.

— Геркулесились, — с усмешкой подсказал отец.

Я молчал. Непонятное слово. Кто его знает, что оно обозначает.

— Сил, говорю, набирались?

Я поспешно закивал головой.

Отец примерил доску, взялся за пилу, ворчливо, но добродушно сказал:

— Вытянулись жеребята, а ума не достали. Все бестолковщину толчете. Нет бы матери помог. Воды бы натаскал, дрова бы вон пилили, кололи. И полезно и здорово. А то с гирей надоумились ворочаться.

Отец был в майке. Он положил доску к себе на колени и начал пилить. Пила аппетитно впивалась в доску, выплевывала густые рыжие опилки. На руках отца под кожей волнуясь играли упругие мускулы.

«Вот где силищи-то, — с завистью думал я. — Мне бы».

— Чего стоишь, помогай.

Я обрадованно смахнул с плеч пальто. Хороший у меня отец, незлобивый. Придерживая доску, спросил:

— Пап, а правда, что девчонки сильных любят? Отец засмеялся.

— Ясно, не заморышей.

Он опустил пилу и как-то подозрительно заглянул мне в лицо.

Целую неделю мы с Гринькой пилили и кололи дрова то у него, то у нас.

— Горячо взялись. Ох горячо! — тревожилась мать. — Опять жди беды.

Отец усмехался, успокаивал.

— Время пришло к работе.

Он невзначай брал меня за руку повыше локтя, озорно подмигивал.

— Копится силенок-то?

— Не очень, пап, — сокрушался я.

— Ничего. Не сразу и Москва строилась. Аппетит к еде волчий — и сила будет звериная.

«У меня-то волчий, — думал я, — а вот у Гриньки...»

Дохлаый он какой-то стал и грустный. Да и то сказать — загрустишь. Из кожи лезет — старается учиться, дрова наравне со мной пилит, а по вечерам отдохнуть бы — гулять плетется. И чего он только так тянется к этой кнопке — Маринке? Не пойму. Мне так вот она ни чуточку не нравится. Черномазая какая-то, как будто неумытая всегда. А нос задирает, что твоя королева. Я бы ей давно навтыкал, чтоб не задавалась, да Гриньки боюсь. Он совсем ошалел. На одних пятерки учится.

Я, поди, тоже, наверное, полюбил Нинку-то, а ничего — даже аппетита не лишился. И по вечерам не толкусь возле ее дома, чтоб поглазеть на нее. Что она, картинка, что ли? И в школе наляжусь. Тоска.

В субботу Гринька явился в школу с распухшим носом.

— Нагулялся, — попрекнул я его, как только он сел за парту.

— Прихватило малость, Сань.

— Как следует, Гринь.

— И заметно?

— Сказал! Как головня горит. Сунь в воду — зашипит.

— И блестит, Сань?

— Блестит, Гринь, как хромовый сапог начищенный.

— Это мать сметаной намазала.

Гринька плюнул на обшлаг рукава, потер им нос.

— А сейчас?

— Как и было.

— Не везет мне, Сань.

— Не больно везет, Гринь.

— Разлюбит она меня.

— А уж полюбила?!

— Пора бы, Сань. Я ее вон как долго люблю.

— А меня Нинка, наверно, еще нет. Да, Гринь?

— Рано еще. Да ты и плохо любишь, Сань.

— А отколь она знает?

— Чует.

— Нужна она мне, квашня.

Я отодвинулся на край парты, открыл учебник.

В класс вбежала Маринка, а за ней, переваливаясь, как утка, с боку на бок, вошла Нинка. Зеленая косынка съехала на шею и висела хомутом. Портфель, набитый до отказа книгами, не закрывался, и она несла его, обхватив руками.

При их появлении Гринька оживился, но тут же погас. Вспомнил о своем корявом носе, отвернулся к окну. Однако это его не спасло. Поравнявшись с нашей партой, Маринка остановилась, съязвила:

— Здравствуйте, синьор помидор!

Гринька зарделся. Я подумал, что он подскочит и треснет Маринке, а он, стыдно говорить-то, опустил голову и проямлил:

— Здравствуйте.

Нинка фыркнула, закрыла лицо портфелем, подтолкнула подругу в плечо.

Я, хоть и сердитый был на Гриньку, а и то не стерпел.

— Проваливай!

— А с тобой, стрелец, не разговаривают.

— Ну! — Я угрожающе сжал кулаки.

По коридору школы тревожно заметался звонок.

В середине урока с задней парты, посмеиваясь, мне передали записку. Я развернул ее и сцепил зубы.

На чистом листе нарисована длинная, как жердь, фигура с уродливым красным носом, а рядом с ней маленький рыжий человечек с огромным самопалом.

Подпись: «Боярин Гринька и его слуга — оруженосец Санька.

С приветом. Передайте дальше».

«Вот гадюка, — думал я, — человек из-за нее жизни не рад, а она смеется. Ну погоди, добахвалишься. Проучу я тебя».

Отдал записку Гриньке. Он посмотрел и заулыбался. Как же, узнал любимый почерк. Совсем свихнулся человек.

В перемену я подстерег Маринку в коридоре. Затолкал ее в раздевалку в темный угол, схватил за косички.

— Попалась, пигалица.

— Угу, Сань, попалась, — шепнула Маринка. Я опешил.

— Вот дам по уху.

— За что?

— Потом разберешься. Ты Гриньку любишь?

— Я?..

— Да, ты?

— Его Нинка любит.

— Нинка?!

Я сжал в кулаках косички и потянул. Маринка искривилась от боли.

— Ты что, сдурел? Пусти.

— Полюбишь Гриньку?

— Я?.. Ой!

— Полюбишь?

Маринка вдруг твердо подняла голову.

— Нет!

— По-о-олюбишь, — прошипел я и потянул за косички сильнее, — а Нинка пусть меня любит.

— Саня...

Мы вас так поделили. Маринка заплакала. Я растерялся. Разжал кулаки.

— А еще городская тоже... Маринка убежала в класс.

Я постоял с минуту в раздумье, сунул руки в карманы и, беззаботно посвистывая, направился следом за ней. По дороге невзначай треснул по щетинистому затылку первоклашке и как ни в чем не бывало уселся за свою парту.

Маринка хныкала.

А Гринька... у-у-у... набычился. Обводил класс злыми глазами. Покосился на меня.

— Ты?..

Я сделал озабоченный вид. Полез в парту за книгами, небрежно ответил:

— Нет, Гринь, не я. Она, как овца безголовая, неслась по коридору и наскочила на угол.

— В коридоре, на угол?

— Может, и не на угол. Я уж не помню.

Маринку вызвали к доске. Она вытерла глаза кружевным платочком и встала.

— Я не подготовилась сегодня, Вера Петровна. Учительница поставила в журнале точку, сказала:

— Тогда попросим Палкина.

Гринька вылез из-за парты, вытянулся, нахмурил брови.

— Я тоже не подготовился.

— Странно, — проговорила Вера Петровна.

«И ничего странного, — подумал я. — Маринка не пошла отвечать — глаза заплаканы и щеки красные, в слезах, а Гринька в солидарность с ней. Упала она случайно в огонь, и он прыгнет туда же. Ненормальный да и только».

— Щепкин, — оборвала мои размышления учительница. Меня словно током прошибло. Я вскочил так резво, что в ногах

хрустнуло. Заморгал ресницами.

— Иди.

— Куда?

— Отвечать.

— Да я... У нас, Вера Петровна, корова отелилась. Позади меня кто-то хихикнул, я даже не обернулся.

— Садись. Это что, заговор? Останетесь все трое после уроков, а сейчас перейдем к новому материалу.

Я насупился. Остаться в школе дополнительно не входило в мои планы. Отцу, как бригадиру, выделили на сегодня легковую машину, и он обещал взять меня с собой в районный центр.

«Покатался, — негодовал я, отчужденно поглядывая на Гриньку. — Знает, а не ответил. Один-то я бы схватил двойку и порядок. А тут вот страдай из-за них».

— Сань, — шепнул мне Гринька.

— Что?

— Это ты здорово, о корове-то. — Как уж вышло.

— Ты настоящий друг, Сань. Поддержал.

— А что мне оставалось?

— Уйдут все, в догонялышки поиграем. Обрадовался.

— Все равно дома делать нечего.

— Мне есть чего.

— А ты возьми да убеги, Сань. Я не ответил.

Я понял Гринькин замысел. Он желает спровадить меня и остаться с Маринкой вдвоем. Я лишний теперь. Был друг и нет его. Эх, жизнь!

— Конечно, убегу, что я, дурак, что ли.

— А я скажу, ты в больницу ушел, ага?

— Не поможет, все одно взгреют.

— Поможет, Сань, не бойся.

В посиделках

Напрасно Гринька радовался чужой беде. Ему тоже не посчастливилось.

Он мне рассказывал потом.

Маринка-то ушла. Ее Вера Петровна домой отпустила, а он... два часа скитался по пустой школе — гонял из угла в угол зеленую тоску. А потом один-одинешенек домой топал. И дома неприятность. Мать веником огрела. Догадалась, что его после уроков оставили. И пригрозила, что о гулянье сегодня пусть и не думает.

А это похуже веника. Он мечтал вызвать вечером Маринку на улицу.

Так ему и надо. Променил друга на девчонку!

— Мам, нам на завтра уроков не задали, — с робкой надеждой простонал Гринька.

— И не клянчи, не пушу.

Гринька сел за стол и нахохлил над книгой взъерошенную голову. Рассчитывал, что такая поза растревожит сердце матери. Но мать гладила белье и не обращала на него никакого внимания.

Гринька посидел-посидел — надоело. Видит, что из этого сидения ничего путного по

получится. Решил задобрить мать. Оделся. Натаскал в кадку воды, наколот дров, расчистил вокруг дома дорожки, почистил в коровьем хлеву, поката на санках сестренку, намыл полный ведерный чугунок картошки и попросил:

— Мам, я погуляю?

Мать улыбнулась. Еще бы! Столько переделал человек — улыбнешься. Если бы я так поработал, меня не только гулять, отпустили бы хоть на край света.

— Я немножечко, мам?

— Ты что пристал, как банный лист?

Но Гринька понял, что мать уже не сердится, и поднял воротник.

— Нос-то прикрой. Совсем отморозишь. Девчонки любить не будут.

От таких слов Гриньку в пот бросило. Он поперхнулся и закашлялся.

Мать взглянула на него с тревогой — не простыл ли? Но Гринька не дал ей опомниться — пулей выскочил на улицу. Ветер. Цепкий, колючий.

В поле косматым дымом стелется поземка. Возле сараев, изб паром кружится снежная пыль. На карнизах домов седыми бровями нависли тяжелые завитушки снега.

Гринька, зажав варежкой нос, прогуливался мимо окон Маринкиного дома. Прошелся раз, два, три, четыре. Ноги зябли. Стал припрыгивать.

Стемнело. В окнах вспыхнул свет. Гринька заметил на окне незамороженную полосу, взобрался на завалину, заглянул. Ничего не видно. Верхняя часть окна не застлана снегом, но туда не дотянуться.

Спрыгнул. Потоптался. И, конечно, мечтал зайти в дом. А что сказать? Книжку попросить? Своя есть. Ладно уж. Завтра. Может, и потеплее будет. И что-нибудь придумаю. Лучше в школе скажу. Приду в школу рано-рано — раньше всех, и она, случись, придет. В классе будет еще темно, и скажу: «Марина...» — пускай смеется — скажу. Скажу, что она хорошая, что и пальто у нее хорошее, и платье хорошее, и валенки тоже.

Насчет валенок Гринька явно преувеличивал.

Валенки у Маринки были такие же, как и у всех, — валяные, черные.

«Нет, не как у всех, — спорил Гринька, — махонькие, новые. А у меня...»

Гринька угрюмо пнул потресканный ствол ветлы своим широченным подшитым валенком, сказал с презрением:

— Бахилы.

И обиженный побежал домой. Сзади звякнули пустые ведра. Обернулся. Маринкин дед шел за водой. В два прыжка Гринька очутился возле него.

— Дедушка, дай я схожу...

Дед аж крякнул от неожиданности.

— Напужал как...

— Я быстро, дедушка.

— На, коли охота.

Гринька вскинул на плечи коромысло и на всю деревню загромыхал ведрами.

«Теперь-то я ее увижу», — радовался он, подмигивая сам себе, приплясывал и напевал:

— Марина, Марина, Марина.

И вдруг замер: «А ну, как ее дома нет?.. Дома. Куда она провалилась? Погреюсь. А может, и чаем угостят».

Гринька, понятно, от счастья зажмурился. Забыл о морозе: мысленно он сидел уже за столом рядом с Маринкой и пил с вареньем чай. Варенье ему подкладывала Маринка.

— Ешь, ешь, Григорий Васильевич, не стесняйся, — подбадривал дед и улыбался. И Маринка улыбалась, и бабушка улыбалась.

А ведра на коромысле отчаянно раскачивались, вода выплескивалась, обливала

Гринькино пальто, сапоги, и они леденели. Дед встретил Гриньку на крыльце.

— Вот спасибо, милый. Дай бог тебе доброго здоровья. Гринька опомнился, шепнул злорадно:

— Почаевничал, Григорий Васильич, погрел пузо — вылезай.

Потом Гринька признался мне, что всю ночь разговаривал с Маринкой во сне. И слова находил, и шутки шутил. Проснулся ни свет ни заря. Побежал в школу — в окна домов огни не зажглись. Сидел и прислушивался к каждому шороху — ждал. Вздрагивал от каждого хлопка двери. А Маринка пришла на занятия с опозданием.

Вечером Гринька твердо-натвердо решил вызвать Маринку на улицу и поговорить с ней. О чем — он не ведал. «Вызову и придумаю», — размышлял он, шагая вдоль улицы. Но, когда подошел к Маринкиному дому, на него напала робость.

— Жалкий трус, петушиный хвост, — ругал он сам себя, — пугало огородное.

Однако вызвать Маринку так и не отважился. Толкался, толкался и придумал.

Припал к замороженному стеклу окна, начал усиленно на него дышать, чтоб оттаял небольшой пятчок и хоть одним глазом заглянуть в комнату, посмотреть на Маринку.

Представляю, как Гринька жарко дышал, будто после лыжных соревнований. Неосторожно лизнул языком железный уголок рамы и прилип. Хотел крикнуть — прилип губами. В страхе неловко взмахнул рукой. Разбил окно. Зазвенели осколки стекла.

На улицу выскочил Маринкин дед. Он сгреб Гриньку в охапку, внес в комнату, зло прохрипел:

— Окошки бить, я те покажу!

Дед ухватил Гриньку за ухо, повернул лицом к себе и растерянно икнул:

— Эээ... эк!

Гринька языком облизывал окровавленные губы:

— Я... Я... Я нечаянно. Я... к Маринке, за книжкой.

— Нету ее, милый. У Нинушки она. Мать у нее уехала в город. Домовничают, — подбежав к Гриньке, в страхе ласково лебезила бабушка и вдруг накинулась на деда. — Ты что натворил, старый злыдень? Иди в чулан, неси лекарство, да поскорей! О господи! — и метнулась к буфету.

Пока бабка стучала стеклянками, а дед ходил в чулан, Гринька исчез.

Прибежал к нам, как с пожара, запыхался. Отозвал меня к порогу, сказал:

— Идем скорее.

— Куда?

— В посиделки. У Нинки мать в городе, они домовничают.

— А пустят они нас?

— А как же, — уверенно ответил Гринька.

Он всегда был во всем уверен. И почти всегда ошибался.

Однажды пошли мы с ним с санками в лес за дровами. Наложили бревен. Хороших, много. Чуть везем, кряхтим. Довезли до речки. Спуск крутой. Я говорю: «Гринь, осторожно спускай». А он: «Сами съедут». — «Сломаются». — «А что им станет?» Пустили мы санки: а они как треснутся об лед, перевернулись — и в полынью. Ни дров, ни санок.

Таких примеров я мог бы привести уйму. Да только к чему? Гринька и на этот раз ошибся. Девчонки не пустили нас в комнату. Сколько ни дрожали мы на морозе под окнами, сколько ни грохотали в дверь кулаками, как ни кланчили, так ничего и не добились. Девчонки выходили на стук в коридор, о чем-то загадочно шушукались, приглушенно хихикали, а дверь не отпирали.

Я напоследок лягнул что было силы ногой в дверь и домой хотел было идти. А Гринька — ни в какую. Уперся как бык и не своротишь.

Погоди, говорит, да погоди. Неправда, говорит, что-нибудь да придумаем. И скумекали.

Решили забраться в дом к девчонкам через двор. За веревкой не поленились сбегали. Залезли на крышу двора, разворошили солому — проделали дыру. Заглянул я в нее —

чернота, хоть глаз коли. А туда спускаться надо. Меня жуть морозом прошибла.

— Боязно, Гринь, — говорю.

Гринька молчит. Брови сдвинул. Вижу, недоволен. Обиделся.

— Не совсем, — говорю, — Гринь, боязно, а так, немножечко.

— Не думал я, что ты, Сань...

— Да нет, Гринь, мне уже почти не боязно.

— А ежели бы, Сань, война? Ежели бы мы были партизаны? Ежели бы там в доме были враги? А? А ты — боязно.

— Э-э-э! Гриньк, сказал тоже. Это коли война, это коли партизаны — я бы и глазом не моргнул. А тут просто так, полезай в эту дыру за здорово живешь. Лезь сам.

— Я бы с радостью, Сань. Я бы и не то еще сделал, но ты меня, Сань, не удержишь на веревке. Я тяжелый. А ты, Сань, маленький. Я тебя полего-о-нечку спущу.

Ох и Гринька! Знает, что я отзывчивый. Да и то сказать, надо кому-то лезть. А он правду говорит. Я не особо тяжелый. Как-то отец поставил на весы и сам был не рад. Я еле дотянул до тощего барана. Кладовщик Семен усмехнулся с хитрецей и говорит:

— Голодом моришь отпрыска. Отец только крикнул.

— А леший его знает. Дырявый он, что ли. Ест, как вол, а растет козленком.

Обвязал меня Гринька веревкой и начал опускать.

Спервоначала шло все хорошо. Опускался я в непроглядную темень плавно и, надо думать, уже до половины спустился во двор, а то и больше. И вдруг зацепил штаниной какую-то жердь. Оттолкнул ее ногой, а это оказалась вовсе и не жердь, а куриный насест. Он сорвался — и вниз. А курица, хоть и птица, а если растревожишь ее, кричит не меньше самой горластой бабы в деревне. А я сошвырнул целый насест. Представляете, что поднялось! Уши затыкай. Овцы ите не выдержали — жалобно заблеяли. На соседнем дворе собака затыкала. Поросяенок, на что уж ленивый и глупый, и то захрюкал от страху.

У меня волосы дыбом встали.

А веревка, как назло, дернулась несколько раз и — стоп машина, приехали. Повис я и дрыгаюсь, как рыба на крючке, и ни с места. И уцепиться не за что. Куда ни лягну — бездонная пустота. Кричу Гриньке:

— Чего ты там. Тяни!

— Да веревка, Сань, спуталась. Держись.

— За что? За свои волосы, что ли? Тяни, дылда! Вспыхнула лампочка. Во двор вбежали девчонки и онемели от ужаса. И не удивительно. Я раскачивался на веревке, как пугало. Онемеешь.

Нинка будто кипяткухватила, рот разевает, а звука нет. А Маринка как вцепилась в косяк, так и прилипла к нему. Трясется, как лист осиновый. А потом обе как взвоят и — на улицу. Выбежали и заверещали. По морозному воздуху только треск пошел.

Мы с Гринькой махнули с крыши двора прямо в сугроб.

По самый пояс улетели. Выбрались кое-как и по задворкам — тягу. Обогнули деревню и с другого конца ее идем как ни в чем не бывало. Снег отряхнули, веревку спрятали, посмеиваемся.

Посреди деревни Васек нам встретился. Бежит, торопится.

— Куда-то ты? — остановил его Гринька.

— Как куда, — обиделся он, — Нинку Хромову воры обчистили.

— Врешь!

— Вру-у-у... Как липку ободрали. Через крышу двора залезли. Овец — чик, — Васек шаркнул ребром ладони по шее, — а от куриц один пух остался.

— И все унесли?

— Нет. Говорят, не успели. Один из воров повесился. Мы с Гринькой переглянулись, спросили:

— И висит он?

— Нет. Говорят, сбежал.

— Как же, Васёк, повесился и сбежал.

— А я знаю как? Идите да спросите. Бабка Марфа говорит, это вор-оборотень. Он все может. Он может заставить человека что угодно сделать.

Гринька толкнул меня в бок кулаком, подмигнул: вот, мол, мелет.

Возле Нинкиного дома толпился народ.

Женщины так горячо обсуждали случившееся и рассказывали с такой подробностью, что я начал им верить. Тем более что девчонки во всем им поддакивали.

Я стоял позади толпы. За мной подозрительно темнел повалившийся плетень, за плетнем чернели стволы яблонь. Я воровато оглядывался. А вдруг этот волосатый оборотень появится. Мне уже плохо верилось в то, что это я спускался на веревке во двор. Может, и не я, всякое бывает. Оборотень есть оборотень. Обернулся в меня и полез.

А когда Гринька сказал, что он видел этого вора позавчера в лесу — я совсем запутался. Может, и Гринька не Гринька, а оборотень. Я осторожно потрогал его за рукав пальто.

Гринька повернулся, приложил палец к губам: молчи. И понес, и понёс. Нагородил таких невообразимых страхов, что самому страшно стало.

Женщины утихли. Подавленные Гринькиными ужасами из сказок, начали расходиться по домам. Расходились попарно, робко опираясь. Я намеревался тоже улизнуть, но меня остановила Нинка.

Сань, нам боязно.

— А нам, думаешь? — ответил я.

— Вам не так.

— Еще бы, — я гордо поднял голову. В комнате было чисто и уютно. Пахло щами. Мы с Гринькой несмело остановились у порога.

— Проходите.

Маринка расставила вокруг стола потемневшие от времени стулья.

— У нас книжка есть, интересная.

Нинка подала нам по стакану теплого яблочного компоту.

— Пейте.

Мы засмутились, но выпили. И немножечко осмелели. В чужой комнате обычно так поначалу чувствуешь себя скованно, и обвыкнешь — осмелеешь.

Смотрели книжку с картинками. Хорошую книжку — про войну. Потом Маринка рассказывала, как она в прошлое лето ездила и пионерский лагерь. Рассказывала долго и неинтересно. Я уже позевать начал. А Нинка даже задремала. А Гринька ничего. Слушал не шелохнувшись, рот от удовольствия открыл. И я знаю почему: рядом с Маринкой сидел.

Я не выдержал:

— Давайте в прятки играть.

— Можно бы, — ответила Нинка, — да только прятаться негде.

— Тогда в жмурки.

Нинка обрадовалась, собрала всех в круг и затараторила:

Ехал Грека через реку....

Водить досталось Нинке. Мы завязали ей глаза скрученным полушалком, подвели к столу и разбежались в разные стороны. И началось... Успевай поворачиваться. Ходи, пол, ходи, печь...

Пыль коромыслом. Топот. Визг. Смех.

А как Гринька стал водить, тут уж совсем...

У него руки — что твои грабли. Растопырил их — всю избу обхватил Мы — кто куда. Нинка в угол, я под лавку, а Маринка вертелась, вертелась — и на стул. Гринька сцапал ее. Она вырвалась — и на стол. Со стола на кровать, с кровати на печь...

Опять Нинке досталось водить. Потом опять Гриньке. Потом Нинке. Котом Гриньке. Потом...

Меня сомнения взяли. Чего это они все водят и водят. Да води то с превеликой охотой. Что-то тут не чисто. Поймают нас с Маринкой и не узнают или ненароком выпустят.

Стал я приглядываться и разгадал их хитрости.

Нинка все время ловит Гриньку. А он нарочно поддается ей. Повяжет повязку и за Маринкой. Поймает, держит за руку, волосы поглаживает, а после скажет:

— Нина.

Откроет глаза и усмехается. Не отгадал, мол. А чего тут не отгадать? Маринку с Нинкой спутать все одно что воробья с курицей. Обманщики.

Сунулся я сам к Гриньке в руки, а он шепчет:

— Беги.

И грустно мне сделалось. Значит, понапрасну я носился как ошалелый, значит, зря я радовался своей прыти и ловкости. Никто за мной и не бегают. Никому я здесь совсем и не нужен.

Отошел в сторонку, прислонился к стене и стою равнодушный и обиженный.

Гляжу: Гринька Маринку поймал. Она змеей извивается, рвется от него.

Наконец... О, чудо! Признал.

— Марина.

Сказал, словно ложку меда проглотил.

Маринка сорвала с его глаз платок, перевязала им свои глаза — и ко мне. И тоже не узнает. Водит по моему лицу пальцами. Нос пощекотала, за ухо подергала. Я уж метил оттолкнуть ее... А она тихо так:

— Санечка, ты что все сердишься?

У меня от жалости к себе чуть слезы не выступили. Скажет тоже. Так-то меня и мать никогда не называла.

— А тебе что? Не твое дело. Давай платок. Водить буду.

— На, держи.

Маринка отошла к столу, взяла книгу, объявила:

— Я больше не играю.

— И я, — отозвалась Нинка. — Набегалась, есть захотелось. Давайте ужинать.

— Было бы чего, — обронила Маринка.

— Сготовим. Мальчишки, идите за дровами.

После ужина нас всех разморило и потянуло в сон, а спать было уже некогда.

Утро. Петухи запели.

Печь топить надо. Воду греть, картошку варить. Скотину поить-кормить. Корову доить. А девчонки во двор идти боятся. И пришлось нам с Гринькой засучивать рукава. Хотя и не мужицкая это работа, а что с ними, с пугалами, поделаешь? Уработались так, что еле ноги передвигали. Вот тебе и бабья работа.

Подцепишь в печке чугуны с водой или картошкой, а он — как прирос, пока его тянешь — он из тебя все жилы вытянет. А таких чугунов не один.

И понял я, что зря презирал девчонок. Они народ ничего — хороший. И весело с ними и сытно. И жизнь у них не такая уж легкая. Как бы они одни возились с такими чугунищами? Ума не приложу. А ведь пришлось бы.

И как это моя мама с ними каждый день возится? Вот она и худенькая такая, вот и

болят у нее руки-то.

И стыдно мне стало и за себя и за отца. Замотался он со своим бригадирством, и я хорош — оболтус.

Письмо

Ох у нас и зима в деревне! Длинная — страсть. Пожалуй, не короче, чем дорога в город. Едешь-едешь — и ни конца ей, ни краю. А лето — оно как тропинка в соседнее село. Раз-два, прыг-прыг, скок-скок — и вот уже завиднелись огородные плетни. За плетнями — подсолнечники. Золотые кепки набекрень — улыбаются. А вот и речка. Рубашку в сторону. Лежишь на мели, дрыгаешь ногами и, как поросенок, хрюкаешь от удовольствия.

А зимой...

И кто ее только выдумал, проклятую?

Зимой ни в поле тебе, ни на речку, ни в луга — всюду пусто. Снег и снег — тоска белая. Уж и на лыжах, и на санках, и на коньках накатаешься по горло, а зима все тянется и тянется. То мороз — сосны трещат, то пурга — ветер как заревет, как закружит, как закружит! Такую карусель устроит — не поймешь, где небо, где земля.

Утром проснешься — дома по самые глаза в снегу. Едва сойдешь с крыльца, полные валенки холоду начерпаешь — и снова домой. И сидишь, как зверь в клетке. Ходишь от стены к стене. Все углы обнюхаешь, все щели пересчитаешь. Таракану усы подпалишь.

Скука смертная.

У Нинки мать приехала из города и больше не собирается уезжать.

В школе каникулы.

А вьюга все скулит и скулит в печной трубе.

Того гляди сам заскулишь. Девчонки на улицу и нос не показывают.

И день — тьма с тьмой сходится.

Книжки надоели. Шашки надоели. Прямо хоть ложись и помирай.

Я-то еще ничего, кое-как крепился, а Гринька совсем угас. Целую неделю Маринку не видел. Глаза скучные. Тяжело ему.

— Сань, давай Ваську пошлем к девчонкам. Он вызовет их на улицу.

— Ваську... — Я смотрел в окно и медлил с ответом. Гринька часто жаловался мне, что ему из-за Васьки прямо житья никакого нет дома.

Однажды их мать купила к чаю малинового варенья, а Васька разыскал его и всю банку очистил. Живот надул, как футбольный мяч. А Гриньке рубашку намазал. Расхлебывайся!

Гринька со злости взял и подложил Ваське на постель ежа, а Васька в отместку, пока Гринька спал, насыпал ему в валенки кнопок. Додумался — глупая голова. Гринька как вскочил в валенки, так чуть не до потолка подпрыгнул.

Вот и подумайте: можно ли такому человеку доверить свою самую тайную тайну. Но Гринька настаивал. Он совсем голову потерял.

— А пойдет ли он, Гринь, — сомневался я.

— Я ему фонарик, Сань, отдам. Все равно он не светит. Васька, против моих ожиданий, согласился идти к девчонкам сразу же. Забрал у Гриньки фонарик, пощелкал включателем.

— А чего он не горит?

— Он зажжется, Васьк, — заверил Гринька, — вот накопится в нем электричество — и загорится.

— Ладно, — Васька сунул фонарик в свои широкие штаны и убежал.

Вернулся быстро, радостный.

— Они сказали, чтобы вы сделали в нашем сарае качель.

— Они придут? — торопил Гринька.

— Да ну тебя. Им сейчас неколи. Им надо полы мыть. Сказали, что придут, если вы уберете сено.

— Какое сено?

— Как какое? Около колхозного телятника. Ихпросила помочь убрать это сено телятника Дарья.

— Мы сделаем, Васьк. Ты скажи им, что мы обязательно сделаем.

И мы действительно все сделали.

Смастерили в сарае качель, а потом целых полдня таскали и укладывали под навес сено. Старались изо всех сил. Торопились сделать побыстрее. Я измучился так, что еле языком шевелил. Вилы из рук валялись.

— Ничего, Сань, — подбадривал меня Гринька, — из-за любви и не это еще делают. Я читал в какой-то книжке, что раньше даже войны бывали.

О Гринька...

Позднее выяснилось, что мучились мы и вовсе не ради любви. Сено под навес должен был таскать и укладывать Васька со своими школьными товарищами. (Они недавно взяли шефство над телятником.)

Говорил я Гриньке, что нельзя доверять такому человеку. Пока мы за него работали, он на нашей качели раскачивался. На другой день Гринька пришел ко мне мрачнее мрачного.

— Знаешь, Сань? Ты меня, верно, скоро не увидишь.

— Уезжаешь, Гринь?

— Уезжаю, Сань.

— В город?

— Насовсем, Сань.

— Гляди-кось. И молчит. А друг. Может, и я с тобой поеду.

— Молчу, Сань. И поеду один.

Гринька заморгал ресницами, отвернулся и выбежал из комнаты. Из сеней крикнул:

— Потом узнаешь, Сань.

И я узнал.

Опостылела ему такая жизнь. Измучила его любовь. Невмоготу ему стало. И он решил умереть.

Написал Маринке записку: «Марина, я (далее было густо зачеркнуто). Что ты в посиделках у Нинки не сказала мне "Гринечка", как сказала Саньке "Санечка". Прощай навеки».

Гринька сунул записку в карман и вышел на улицу в снежную мглу.

В этом мире его уже не было. Он умер. Он уложил себя в гроб и нарядил цветами. Посадил в изголовье с одной стороны Маринку, с другой — мать. Обе они, конечно, горюют о нем и плачут. А ему и жалко их и приятно. Он украдкой поглядывает то на мать, то на Маринку и втайне злорадствует: вот так-то, Мариночка. «Тетя Катя, не проклинайте меня, — печально и еле слышно просит Маринка, — я Гринечку любила». — «Ага — любила... — ядовито думает Гринька, — а что же ты мне живому об этом не сказала?»

Стой! Тпру-у-у! Гринька очнулся.

Край деревни. Возле последнего дома кто-то сваливает дрова ругает беспокойную лошадь.

Гринька зябко передернул плечами. Хоть он и мертвый, а дальше идти страшно. Поднял воротник и, опустив голову, зашагал обратно. Понес хоронить свои горемычные останки.

Вот и кладбище. Старые кресты, взмахнув руками, по пояс увязли в сугробе. Вот и свежая могила.

Началось прощание.

Подходит Маринка, наклоняется, осторожно прикасается к холодному Гринькиному лбу.

Светит луна. Большая, тоскливо-холодная.

— И все? — спросил сам себя Гринька и остановился. — И больше меня никогда-никогда не будет? Никогда?

Гринька недоуменно огляделся. Дернул себя за нос — больно, стукнул кулаком по

коленке — больно, ущипнул ладонь — тоже больно. Радостно засмеялся:

— Живой!

Рано утром Гринька пришел ко мне. Я еще спал. И не то чтобы спал, а так, лежал на печи с закрытыми глазами в полудреме. Проснулся — размышлял о том, что видел во сне. Размышлял, размышлял — и опять сон проглядел. А потом все перепуталось: и не поймешь, где размышление, а где сон. Какие-то смешные думы с картинками.

Это со мной бывает. Особенно зимой и особенно когда я сплю в одну ночь два раза. А чего вы улыбаетесь? Зимой ночь как веревка — мотаешь, мотаешь — надоест, возьмешь и оборвешь. Встанешь, похлопочешь с матерью по хозяйству: скотину поможешь накормить, печь истопить, горячих лепешек с молоком поешь — и на печь.

Вот тут-то и приходят думы с картинками.

О Маринке я думал. И не хотелось мне о ней думать, а отчего-то думалось. Странно. И думал я о том, почему я о ней думаю. Почему я люблю Нинку, а думаю о Маринке. Уж не втрескался ли я в нее, как Гринька. Вот будет потеха-то! Двое в одну влюбились.

Да только нет. Этого никак не может быть. Глазищи-то у нее... А что?.. И у Нинки-то немного поменьше. А голос?.. Голос ничего, сносный. Она забавно тогда сказала: «Санечка, что ты все сердишься на меня?»

У-у-у, ведьма! Ох бы я и потаскал ее сейчас за косички! Интересно: почему у нее на концах косичек лент нет? У всех девчонок есть, а у нее нет. Смешная она какая-то.

Все девчонки боятся всяких там букашек и таракашек, я и то боюсь, а она найдет жужелицу и весь урок с ней возится.

Однажды поймали мы с Гринькой полудохлого воробья. Взъерошенного, грязного. Принесли в класс и положили на подоконник помирать. А Маринка взяла его и выходила. Из своего рта кормила. Догадалась же. Из рук он, заморыш, не клевал, а изо рта пожалуйста. Запрыгал, зачирикал и через неделю улетел.

Любит она всякую живность. А Гриньку почему-то не любит. И думает он о ней много, аж высох, как палка, а ей хоть бы хны. Воротит нос от него и все тут.

Нет, Гриньк, не верны твои предсказания. Будто когда здорово думаешь о ком, тот обязательно тебя полюбит, и неправда, что, пли любишь кого, — без конца о том думаешь. Маму-то вон я побольше всех люблю, а спроси: думаю ли я о ней — никогда.

Наслушался ты, Гриньк, всяких небылиц и веришь, им. Я повернулся лицом к стене и, успокоенный, задремал.

...Река. Глубокий темный омут. В омуте плавает красноперая рыба.

Мы с Маринкой сидим на отлогом берегу. Вокруг нас затаились в тиши ракитовые кусты.

Солнце. Яркое-яркое. Вода в реке как зеркало, глядишь — и глаза режет. В воздухе парит ястреб. В траве стучат кузнечики.

Мы разматываем удочки.

Знойно.

Маринка покачивает головой, старается стряхнуть с кончика носа прозрачную капельку пота. Косички у Маринки расплелись.

— Жарко, Санечка.

Маринка подпрыгивает и ныряет в воду. И будто это уже не Маринка, а маленькая красивая русалка. Плещется в воде, смотрит на меня и тихо шепчет:

— Санечка, Санечка.

Взвивается в воздух и садится рядышком со мной. Смотрю: Маринка. Говорю:

— Не балуй. Рыбачь.

Маринка наклоняет голову, достает из ржавой консервной банки полосатого навозного

червяка, кладет на ладошку и пытается подцепить его на острый крючок.

Червь то совется в кольцо, то выпрямится, то закрутится спиралью, то завяжется узлом.

— Никак, Санечка.

— А ты двумя пальцами бери его. Не правой рукой — левой. Червь обвил Маринкин палец и вдруг загорелся желтым огнем.

Кольцо. Золотое, как у моей матери.

Возле нашего дома сбоку на лужайке в холодке расставлены столы. За столами гости — все наши родственники. Почти вся деревня. Пьяные. Веселые.

— Горько!

— Горько!..

Гринька! Он тормозит меня за руку, сердито ворчит:

— Вставай. Хватит дрыхнуть-то. Рассвело уже. Я открыл глаза.

— А ты, Гринь, не уехал разве?

— Нет, Сань. Я передумал.

— А я какой сон видал... Будто мы с Маринкой...

— Вы... С Маринкой?..

— Так это же во сне.

— Мало ли что во сне.

— Мы подрались с ней, Гринь.

— А-а-а, — пропел Гринька, — это ничего, Сань. Во сне все бывает.

— Вот и я говорю.

Гринька спрыгнул с приступка, снял пальто и забрался ко мне па печь, зашептал:

— Я, знаешь, Сань, что придумал? Маринке письмо написать. Меня словно шилом кольнули.

— Любовное?

Гринька утвердительно закивал головой.

— Любовное, Сань.

— Давай вместе?

— Давай. Я за тем к тебе и пришел. Ты Нинке напишешь, а я Маринке.

— Нинке?!

— Конечно.

— А может, Гринь... Понимаешь... Давай напишем одной Маринке. А?

— Как это одной?

— Ну, так... Ты Маринке и я Маринке.

— Ты-ы-ы?

Гринька оперся на локти, приподнялся и уставился на меня как баран на новые ворота.

— Ну, чего ты? — встревожился я.

— А то... Что-то ты начал слишком много говорить о Маринке.

— Так и что, Гринь? Ты всегда страсть сколько говоришь о ней, а я не обижаюсь.

— То я, Сань. Ты о Нинке говори сколько угодно, я тоже не обижусь.

— Так мы одно ей напишем письмо-то.

— Одно, это можно. А может, ты Нинке...

— Нинке, Нинке, Маринке. Захомутился ты, Гринь.

— Захомутился, Сань.

— Пойдем письмо писать. Постой, только я кружку молока выпью, а то на голодный желудок чепуха в голову лезет.

"Письмо", — написал Гринька сверху тетрадного листа, поглядел на него, подумал и зачеркнул. Пододвинул тетрадку ко мне, Передал ручку.

— Пиши, Сань, ты. У тебя почерк красивый.

— А чего писать-то?

— А чего хошь, Сань. Я тоже не знаю.

— Сперва-то я знаю.
— Пиши сперва, а потом придумаем. Я открыл чистую страничку и старательно написал:
«Здравствуй, Мариночка».
Написал и задумался.
— Может, восклицательный знак поставить?
— Поставь для серьезности. И дуй дальше. У тебя выходит.
— А ежели стихами, Гринь?
— А ты умеешь?
— Выдумал. Сдерем отколь-нибудь.
— Верно. Ты, Сань, крепко сообразил. Вот у Пушкина... Гринька подпер подбородок руками и закрыл глаза:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

Дальше я запомнил, а жаль: ух и хлестко у него там... Я достал с полки книгу, прочитал:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

— Вишь! — вскрикнул Гринька и восторженно затопал ногами, — я же говорил. Пиши. Я написал, спросил:
— А потом что?
— Сдувай и дальше у него.
— Не гоже, Гринь.
— Очень даже гоже, Сань. Сдувай.
— Ну, Гринь, что мы, дети, что ли? Для начала сдули — и хватит, а опосля надо от себя.
— Как хошь, Сань. Пиши от себя. «Мариночка», — начал я.
— Во-во, — поддержал Гринька.
«Эти слова написал А. С. Пушкин. А коли он бы не написал, я бы тебе написал еще лучше. Я помню чудное мгновенье. Вчера я видал тебя, когда ты шла за водой на колодец. Снег под твоими сапожками: хруп-хруп, хруп-хруп, как сахар».
— погоди, погоди. Хруп-хруп, — остановил меня Гринька. — Я что-то не видал, чтобы она вчера ходила за водой. Ты, Сань, врешь.
— Ты не видал, а я видал.
— Ты... — Гринька встал.
— Да. — Я тоже встал.
— Вычеркни это.
— Не вычеркну.
— Вычеркни!
— Не вычеркну!
— Кто письмо пишет, я или ты?
— Я пишу.
— Ты?... — сквозь зубы переспросил Гринька. — Маринке?! Да я тебе знаешь что...
— Не любит она тебя.

Гринька побледнел, сгреб тетрадку, разорвал ее в мелкие клочки и как ошпаренный вылетел на улицу.

Трудная любовь

Вот до чего докатились мы с Гринькой: поругались из-за девчонки! Срам! Всякое уважение к себе потеряли. Если бы узнали мальчишки — засмеяли начисто.

И все из-за этого из-за дурака Гриньки... И я тоже хорош. Сунулся со своим языком: «Не любит она тебя». А откуда мне известно — любит она его или нет? Да и какое мне дело. А он письмо, видишь ли, надоумился писать. Ну и писал бы себе на здоровье. Так нет, ко мне притащился. Псих.

Большой ты, Гриньк, а бестолковый. Правильно Маринка делает, что не смотрит на тебя. Не пара ты ей. Длинный ты, Гриньк, очень, а она маленькая. Ежели бы тебя сложить вдвое, то, может, и ничего. И мне Нинка не пара.

Что-то, Гриньк, неправильно мы девчонок поделили. Переделить бы надобно. Мы с Маринкой подходим по росту, а вы с Нинкой — по весу. Никому не обидно. Верно ведь?

Верно. А поди поговори с Гринькой... Он сразу да и за кулаки схватится. Я уж давно не сижу с ним за одной партой. Невозможно. Он все время грозитя. А вчера записку прислал, как из ружья выстрелил: «Все. Ты мне больше не друг и не товарищ. Ты мой самый вражистый враг. Гринька Палкин».

Я смолчал. Не хотелось мне подхлестывать раздор. Думал, поярится и отойдет. А он, что ты, через день снова сунул мне и руку записку; «Молчишь, губан. Ну-ну, молчи. Домолчишься». Я и на этот раз стерпел. Гриньку это совсем распалило: «Читаешь ты мои записки или нет? Или тебе кулаком толковать их надо. Я втолкую. Отвечай. Гринька».

Я не ответил.

«Будем драться. Палкин». Прочитал я и ниже подписал: «Будем. Щепкин».

Гринька сбоку вдоль листа крупно написал: «Сегодня».

Я написал с другого боку листа еще крупнее: «Согласен. За колхозным хранилищем. После уроков».

Гринька написал: «Потом не ябедничать».

Я ответил: «Сам язык не распускай».

На этом переписка оборвалась. Вместе с ней рухнула во мне и надежда на мирный исход нашей очередной ссоры.

На последнем уроке я чувствовал себя не особенно приятно. Что ни говори, а сила на Гринькиной стороне. Мне же приходилось надеяться только на свою хитрость и ловкость. Хорошие товарищи, но... Лиса здорово хитрит, а волк все-таки ее догоняет.

Правда, я не зря наметил место встречи за колхозным хранилищем. Там есть силосная яма, и я рассчитывал растравить противника и обманным движением... Не толкнуть. Нет. А сделать так, чтобы он сам по собственному желанию из-за своей силы и ярости ковырнул носом силосное дно.

Скажите, не по правилам. Сейчас! Как будто есть законы и правила расквашивать человеку нос.

Нет таких правил, и я насчет этого был спокоен. Меня тревожило другое: Гринька, он тоже увертливый и не промах. Рассвирепеет, сгребет меня в охапку да и швырнет — купайся, друг ситный. И чем больше я размышлял об этой яме, тем муторнее становилось у меня на душе.

И, как назло, меня вызвали к доске.

По математике я и так-то плохо соображаю, а тут... в голове — как в пустом сарае. Порхают какие-то мыслишки, словно серые воробьи, и не поймашь их, и покою нет.

Мычал я, мычал, хватал, хватал этих воробьев — вспотел, а они вжик-вжик-вжик — и все повывлетали в прорехи. Худой сарай-то оказался.

Кол, конечно, поставили.

И звонок зазвенел. Нет бы пораньше.

Смотрю — Маринка к Гриньке подбежала и вот что-то шепчет ему на ухо, вот шепчет.

А он слушает и ухмыляется. Рот до ушей от радости растянул.

«Ух ты, — думаю, — так бы и вцепился обоим в волосы». Весь страх у меня перед Гринькой пропал. Драться захотелось — даже руки зачесались.

А Гринька драться не пришел.

На другой день, переступив порог класса, я написал Гриньке гневную записку — одно слово: «Трус!»

В перемену Гринька исподтишка ткнул меня в бок кулаком, а на записку не ответил.

Я послал ему второе послание: «Длинноногий заяц».

«Сам ты овца, — приписал Гринька. — Мы еще с тобой поквитаемся. Жди. Ха-ха!»

— Ха-ха, — повторил я. — Ха-ха! — И послышалось мне в этом звуке что-то злое. И предчувствие меня не обмануло.

Через несколько дней в нашем классе появилась новая стенная «молния» с огромной уродливой карикатурой на меня и на моего отца.

Я большущим тесаком срубаю в классе единицы, а отец ведет под уздцы лошадь, везущую воз колов. Под карикатурой подпись:

«— Откуда колишки?

— Из школы, вестимо. Слышь, сынок рубит, а я отвожу».

Всего я ожидал, а этого... Да, Гринька, мы с тобой враги. Ну, нарисовал бы ты меня одного, разукрасил бы в тысячу цветов, а к чему отца-то ты приплел. Нет. Этого я тебе не забуду.

Теперь мне понятно, о чем вы с Маринкой последнее время шушукались. Понятно, зачем в школе после уроков оставались. Снюхались, значит. Предатель.

И Маринка...

«Санечка, что ты на меня сердишься?» «Санечка». У-у-у, лживая! Класс гудел.

У карикатуры толпились ребята, улюлюкали, свистели, кто-то кричал: «Ну, Саврасушка, трогай, натягивай крепче гужи». Я сидел за своей партой и не смел поднять голову. Смотрел в книгу. Буквы прыгали. В глазах дрожали слезы. — Молоток, Санька!

— Отец с дровами будет.

И встал. Медленно, тяжело подошел к гогочущей толпе. Сдернул со стены лист с карикатурой, разорвал его, швырнул Маринке и лицо.

Классное собрание.

Классный руководитель.

Тишина.

— Щепкин, к доске.

Правая рука, волнуясь, гладит, успокаивает левую руку. Пальцы то яростно сжимаются в единый кулак, то недоуменно расходятся друг от друга и вновь кидаются в объятия.

Молчит Гринька. Молчит Маринка.

Чего же вы? Смейтесь. Судите.

Маринка.

Я сжался. Замерло сердце. Ждал.

В классе тишина. Стыдливая, неловкая.

Маринка мнется.

— Вы что-то хотите сказать, Лопухова?

— Я... да...

Замолкла. Смущенно покраснела. Говори. Ябедничай. И вдруг:

— Он не виноватый, Вера Петровна, честное слово, не виноват. Он...

— Интересно.

— Это я... Мы с Палкиным... Я не думала, а когда мы повесили ее, Палкин сказал: «Вот мы и поквитались, Санька». Он ему за что-то мстит. А я не знала... Разве так можно? В газете... Я хотела ее сама снять.

— Лопухова! Что вы говорите? Причем здесь Палкин, причем «мстит»? Щепкин получает двойки, плохо ведет себя, а вы его защищаете.

— Я не знаю, Вера Петровна. Я помогу ему. Он исправится.

— Садитесь, и вы, Щепкин, садитесь. Я вызову в школу вашего отца.

Прыгай, Гринька. Ликуй. Ну... Чего же нос повесил? Досадил ты мне. Ох и досадил. Молодец!

Вплоть до самой весны мы с Маринкой готовили уроки вместе. И каждый день. Она аккуратная. И ни разу не поругались. И что интересно: ни мать, ни отец, ни учителя не смогли меня убедить учиться хорошо, а Маринка убедила. Силу она какую-то имеет. Скажет, и я без споров делаю. На пятерки, конечно, и у Маринки не хватило сил заставить меня учиться. Ну а четверки я начал получать свободно, даже по математике. И знаете, мне и самому это понравилось. Раньше первую половину урока, когда идет опрос, я сидел за партой как пришибленный, затаившись. Прятался от глаз учителя. Опасался, как бы меня не спросили. А сейчас... Сейчас я сижу на уроке королем. Сажу и в ус не дую. А в случае заминки руку тяну. Знай, мол, наших. Вот так-то.

Учителя не нарадуются. И все дивом дивятся: отколь у меня такая прыть взялась. Не догадываются — ну и пусть, раз они такие бестолковые. Главное, они поняли, что у меня голова по мякиной набита.

Прежде, когда я плохо знал урок, учитель не задумываясь ставил мне двойку — и шабаш, а теперь нет. Ежели я тяну ответ, будто санки, груженные не по силам, — дерну и встану, дерну и встану, — учитель не хлещет меня двойкой, словно ременным кнутом, а начинает подталкивать мои санки — помогает. Глядишь, мы вдвоем-то и вытянем до заветной троечки. И оба довольны. Только Маринка сердится. Она ужас не любит, когда я мямлю у доски. А, случись, двойку цапну — не глядит на меня и не разговаривает. Я боюсь этих двоек хуже, чем покойников, а получать их все же изредка получаю. Но это уже умышленно. Я ведь хитрый. Когда не будет у меня совсем ни одной двойки, Маринка отречется от меня. Скажет: ты теперь и один справишься — и не станет приходить к нам учить со мной уроки. А мама так привыкла к Маринке, так полюбила ее — сильнее, чем меня. Все вишневое варенье ей скормила.

И отец полюбил Маринку. Как-то он ездил в районный центр и купил мне костюм к весне, а Маринке купил материи на платье. Нарядной материи.

Маринка не брала, отказывалась.

— Ты что, — удивился отец, — поди не чужая.

Мы с Маринкой поглядели друг на друга и чего-то застыдились, опустили головы. Какие же мы родственники?

На другой день Маринка в намеченное время не пришла к нам.

Выучив уроки, я сидел у окна и жадно следил за дорогой, на которой редко-редко появлялись прохожие. И если шла девчонка — я, волнуясь, прилипал к оконному стеклу.

Она...

Старательно протирал стекло рукавом пиджака.

Нет, не она.

Стемнело.

На крыльце шаги. Скрипнули половицы.

Я выскочил в коридор. Включил свет. Торопливо выдернул в двери скобу-запор. Соседка. Тетя Даша.

Утром в школу я ушел раньше обычного. Хотелось поскорее встретиться с Маринкой, хотелось поговорить с ней. А когда Маринка пришла, я оробел. И чего это со мной случилось? Со всеми девчонками разговаривал, а к Маринке подойти стеснялся. Вот чудеса-то. Никогда со мной такого не бывало. Ведь только позавчера мы с Маринкой готовили вместе домашнее задание и я говорил с ней и не робел, а сейчас... меня будто подменили. Я не только говорить с Маринкой, а глядеть-то на нее открыто боялся. Смотрел украдкой. Смотрел, будто в чужой огород за огурцами лазил.

В перемены я, как все мальчишки, бегал по классу, по коридору, кричал и смеялся. Даже, пожалуй, слишком кричал и слишком смеялся, но это оттого, что мне было вовсе не весело.

Маринка сидела за своей партой какая-то хмурая, листала книгу и на меня не взглянула ни разу.

После уроков Маринка опять не пришла к нам готовить со мной домашнее задание.

Это меня совсем обескуражило.

Под вечер я отправился к Маринке сам. Шел и удивлялся.

Неделю назад я ходил к Маринке, ходил вот так же, ходил вот с этими же тетрадками, ходил — и хоть бы что, ходил с радостью, а сейчас шагал, как бык на бойню. Шел и упирался.

Маринка мыла пол. Дед сидел на табуретке у окна, читал газету. Бабушка лежала на печи.

Перешагнув порог, я сконфуженно прижался спиной к дверному косяку.

Маринка застыла посреди пола с тряпкой в руке. С тряпки капала вода. У Маринкиных ног образовалась лужица.

Дед выглянул из-за газеты, загадочно усмехнулся, сказал:

— Гости на гости — хозяину радости. Принимай, Марина, женихов, нешто растерялась?

— Конечно, дедушка, — натянута засмеялась Маринка, скосила глаза в переднюю комнату, тихо сказала: «Проходи».

Я торопливо снял валенки, шапку, сбросил с себя пальто и уже метил повесить его на гвоздь, но не повесил, растерянно сник. На гвозде висело коричневое Гринькино пальто.

— Давай я повешу.

Маринка уронила тряпку и шагнула ко мне.

Я испуганно отдернул пальто в сторону.

— Не трожь!

— Обиделся, да?

— Не трожь, говорю.

Я сунул ноги в сапоги, нахлобучил шапку.

— Мариночка, — охнула на печи бабушка, — а ты бы в погреб спрыгнула. Мочеными яблоками попотчевай гостей-то.

— Я сейчас, бабушка.

Маринка проворно накинула на голову старенький пуховый платок.

— Подмыла бы, успеется.

— Я после, бабушка.

— Ну, ин как хошь.

— Постой, — шепнула мне Маринка и метнулась в кухню за чашкой.

Я вышел. Зло хлопнул дверью.

На крыльце Маринка догнала меня, взяла за рукав пальто.

— Санечка, ты что?

— Пусти. — Я резко взмахнул рукой.

— А вот не пущу.

— Пусти, сказал.

— Не пущу.

— Иди со своим Гринькой целуйся.

— Ой! — Маринка наклонилась, сделала вид, что умирает от смеха. — Придумал тоже.

— А что, не верно?

— Нисколечко.

— Зачем же он пришел?

— Узнать, что задали по русскому.

— А чего не ко мне, не к Сережке?

— Не знаю.

— Не знаешь. Любовь он крутить пришел.

— А тебе-то что?

— Встречаться мне с ним нет охоты.

— Вы поругались?

Я вынул из кармана последние Гринькины записки:

— На, почитай.

Записка первая: «Рыжий губан, откажись от Маринкиной помощи. Я видал: она вчера к тебе приходила. Чужим умом живешь. Покаешься. До самого темна сидели. Чаем ее подпаиваешь, варением подкармливаешь. Девчоночник. Четверки начал получать, пятерки. Ты мне за них кровью заплатишь. Твой враг Палкин».

— Откуда он узнал, что мы чай пили? — не отрываясь от записки, спросила Маринка.

— В окошки подглядывал. Снег под ними весь был утоптан.

Записка вторая: «От тебя я не ожидал такой подлости. Так не дерутся. Заманил к силосной яме. А я разъярился и нырнул. А если бы я шею своротил? Хорошо, что в яме воды много. Откажись, Сань, от Маринки, а? Я тебе, Сань, сам буду помогать, а? Как хочешь поклянусь. Все задачки за тебя буду решать. И драться больше не станем. Откажись. Ведь ты все одно не ее, а Нинку любишь. Пиши. Твой друг Гринька».

— Это правда? — едва слышно спросила Маринка.

— А ты как думала. Я ему...

— Возьми.

Маринка протянула мне записки, отвернулась и медленно побрела к погребу.

Ничего не понимая, я забежал вперед и преградил ей дорогу.

— Марина, — и больше я не знал, что сказать.

— Уйди! — вскрикнула Маринка и окинула меня злыми заплаканными глазами.

Я покорно отступил в сторону.

Домой возвратился угрюмый. Зашел во двор, спустил с цепи Тарзана и ушел с ним в сарай. Сел там на солому и горестно вздохнул:

— Эх, Тарзанка, Тарзанушка!

Обнял его, притянул к себе и обо всем-то, обо всем ему рассказал. А кому еще я мог рассказать? Не отцу же с матерью. Тарзан, он хоть и собака, а понял меня лучше человека. Положил голову ко мне на колени, глядит мне в глаза своими умными глазами и вроде сказать что-то хочет — утешить, а не может и тоже печалится. Я взял в руки его передние лапы, пожал их, погладил и от души поклялся Тарзану разлюбить Маринку и больше никогда-никогда не влюбляться ни в одну девчонку. Пусть даже в самую что ни на есть красавицу.

И я бы выполнил свою клятву, это уж точно, если бы не весна. А она нагрянула на нашу деревню, как гром с ясного неба. Все было холодно, холодно, а потом как ударит

дождик, а за ним такая теплынь поперла, что нас, мальчишек, сразу к болоту потянуло. И мы бы искупались, да лед на болоте не совсем растаял.

А снег весь сошел.

За деревней на бугре даже зеленая травка проклюнулась. Маленькая такая, ершистая.

На этом бугре у нас гулянье по вечерам.

Собираются сюда все мальчишки и девчонки — и самые маленькие, и самые большие.

Взрослые мальчишки чаще сидят с девчонками на бревнах, и под гармонику или танцуют, а мы, среднячки, больше всего играем во всякие игры.

Хорошо говорить — играем.

Один взгляд девчонки, и мальчишка — самый счастливый человек, он прыгает и без удержу смеется. Но вот она, играя в «трети лишний», встала к другому мальчишке, и он — несчастный из Несчастных, он примолк, насупился.

Мы с Гринькой зорко следили друг за другом. Ненавидели друг друга и чаще всего в игре оказывались вместе, незаметно перебрасывались тумаками, а уйти не могли. Это было выше наших сил. Здесь — Маринка.

И Гриньке и мне ужас как хотелось постоять рядом с ней во время игры. Но... Если такая возможность выпадала Гриньке, то и как можно быстрее старался водить и тут же вставал к нему. Маринка убегала. Если нее мне случалось пристать к Маринке, Гринька поступал точно так же. И мы опять стояли вместе.

— Вот неразлучные, — смеялись над нами ребяташки. Мы хмурились и молчали.

Маринка вставала к нам редко. И не к нам, а к Гриньке, когда он стоял впереди меня. Ко мне Маринка встала всего один-единственный раз, да и то, я считаю, случайно.

Бегаю по кругу, она запыхалась, изнемогла, и догоняющий протянул уже руку, чтобы схватить ее. Маринка извернулась и упала ко мне на руки, вздохнула:

— Извини, Санечка.

И больше ко мне Маринка не вставала. И это понятно. Жених я не ахти приглядный. Смотреть в зеркало не хочется. До чего меня изуродовала эта проклятая весна. Так-то я был в крапинках, а сейчас веснушки на мне расцвели ромашками. Все лицо обсыпали. Не лицо, а подсолнух.

Я уж натирался какой-то мазью. Грязной такой, а ядовитой — злей крапивы. У матери потихоньку уволок. Забрался на сеновал и намазался. И-и-и... Думал, что пожар занялся. Кувырком скатился с сеновала-то.

Выскочил на улицу — и к луже. Мыл-мыл, мыл-мыл — никак. Давай песком оттирать. Песком да водой, песком да водой.

Мать взглянула на меня и руки опустила, вскрикнула:

— Ой, батюшки! Сыночек!

— Чего, мам?

— Лицо-то у тебя — как флаг на сельсовете. Заболел ты?

— Не, мам. Это от солнышка — загорело.

Мать потрогала мою голову, шею. Успокоилась. Потом взглянула на улицу, на серые лохматые тучи, прищурилась, посмотрела на меня пристально-пристально и шагнула к буфету, распахнула его. Загремела бутылками.

Из буфета потянуло лекарством и головной болью.

Я поморщился. Притих.

Нет. Пронесло.

Значит, я уволок не ее лекарство, а отцовские химикаты. Через два дня кожа с моего лица сползла чулком, а ненавистные веснушки засияли пуще прежнего. По-моему, это уже свинство.

А Гринька, он стал таким... таким... справным, что, когда я гляжу на него, у меня от злобы и зависти индо внутри что-то надувается.

Брюки наглажены — обрежешься, ботинки начищены — ослепнешь. Ходит прямо, словно скалку проглотил. Важничает. Старостой класса заделался. У-у-у, дылда. Кудрей навил (сам, конечно). Не голова, а каракулевая шкурка. Красивый стал.

А что, думаешь, я не навью? Дудки. Погоди. Запрыгаешь.

Решено — сделано.

Я выбрал момент, когда дома никого не было, и затопил подтопок. Выдернул из стены гвоздь. Большущий, чудный гвоздь, но кривой. Хотел выпрямить и догадался: кривой-то он лучше. Кудрявее кудри будут. Сунул гвоздь в подтопок, накалил. Хорошо накалил — докрасна. Вынул щипцами, остудил малость и — бух его в волосы. А он, гадина, выскользнул из щипцов-то и а-яй. Голову, как ножом, резануло. Я цап рукой. Руку сварил. А гвоздь в волосах. И заметался я по комнате и завизжал. В соседней деревне, наверно, слышно было. Не помню уж, как я сунул голову в ведро с водой. Слышу: ш-ш-ш — и пар повалил.

Ох и разозлился я на Гриньку. Ругал его всеми, какие знал, ругательными словами.

Провалился бы ты, жердь, сквозь землю. Упал бы на твою кудрявую голову кирпич. Вот лежал бы ты, погибая от жажды — капли воды не подал.

Ругал, а сам бежал на реку. Приложить к обожженному месту ледышку. На реке ледоход. Там льду — хоть пруд пруди. Бежал и свету вольного не видел. Приложил ледышку — отпустило.

Осмотрелся.

На мостках, чуть в сторонке, Маринка с Нинкой белье полощут. Глядят на меня, улыбаются.

— Ты, Сань, чего, — спросила Нинка, — угорел, что ли?

— Да нет. Жарко что-то.

А какое жарко. Небо в снеговых тучах. Ветер промозглый. Бр-р-р. Дрожь берет. Девчонки переглянулись.

У-у-у-у-у-у — загудело на реке позади меня. Я повернулся и онемел.

Посредине бушующей реки плыл на льдине, как Челюскин, Гринька.

Ну, это уже... я не знаю. Прокатиться в половодье на льдине, вот так перед девчонками. У меня даже губы задрожали от ревности.

А он плыл и, не обращая внимания на яростно бурлившую мутную воду вокруг льдины, декламировал: «Безумству храбрых поем мы песню».

Поравнявшись со мной, Гринька решил совсем меня уничтожить, крикнул:

— Санька! Рожденный ползать — летать не может. Я стиснул зубы, отвернулся.

— Ой! Ой! — завизжали девчонки.

Льдина, на которой плыл Гринька, зацепилась за потопленное в реке дерево, закружилась, закачалась, накренилась и вдруг разломилась на мелкие кусочки.

— Ма! — вскрикнул Гринька и, судорожно взмахнув руками, упал на спину. Упал навзничь и скрылся под водой. Вынырнул, но не плыл, а бессознательно барахтался, как слепой кутенок.

— Тонет! Тонет! — заголосили девчонки. И все.

Очнулся я, когда Гринька уже лежал на берегу. На голове у него кровоточила рана.

Маринка сидела верхом на Гринькином животе и вверх-вниз качала его руки.

Изо рта у Гриньки текла вода. Много воды.

Вдруг Гринька слабо вздохнул. Шевельнулись веки.

Живой. Я заплакал.

Не помню, когда и как я сбросил с себя пальто, не помню, как я оторвал мостки, на

которых девчонки полоскали белье, не помню, как я плыл с ними, не помню, холодная или нет была вода, — ничего не помню.

После этого случая мы помирились с Гринькой. Мы вновь стали закадычными друзьями. О Маринке старались не говорить.

Ведьма Марфа

До конца учебного года оставалось всего-провсего каких-то несколько захудалых дней. Благодать. Настроение у нас было самое раскрепасное. Особенно у меня.

Стараясь вырасти и повзрослеть в Маринкиных глазах, я чуть-чуть не забрался в отличники. На последнем классном собрании меня так хвалили, что я едва не разревелся сам над собою: какой я хороший!

После собрания ко мне подошла Маринка и говорит!

— А ты, Санечка, сильный.

— А как же, — с гордостью ответил я.

Согнул в локте правую руку, поднатужил ее и, многозначительно пощупав мускулы, сказал:

— Попробуй. Каменные.

— Я не об этом, — улыбнулась Маринка, — силы воли у тебя много.

— Чего?

— Силы воли.

— А-а, — догадался я, — этой чепухи у меня хоть лопатой отгребай.

— Слушай. А ты умеешь пахать? С чего это ей взбрело?

— А на чем, на тракторе?

— Нет, — отмахнулась Маринка, — плугом на лошади.

— Хи. Сколь угодно.

— Санечка...

Маринка помедлила. Заботливо сняла с моего костюма ниточку.

— Вспаши, пожалуйста, бабушке Марфе усадьбу. Я насупился.

— Ну, пожалуйста, Санечка. Я тебя прошу.

— А лошадь кто даст?

Я задал этот вопрос в надежде, что Маринка откажется от своей просьбы. Ведь пахать-то я не умел. Я просто рисовался.

— Кто? — Маринка задумалась. Я уже торжествовал победу.

— Кто? — повторила Маринка, ласково улыбнулась. — Санечка, у тебя же отец бригадир. Ну хочешь, я его попрошу.

— Не надо.

— Ты, Санечка, умница.

Маринка побежала в раздевалку одевать пальто, обернулась, крикнула:

— Я тебе помогу. Я лошадь под уздцы буду водить.

Ох уж эти мне девчонки. Ох, хитрющий народ. «Ты, Санечка, умница».

Да я за такие слова не только Марфину усадьбу — всю землю вокруг деревни готов перепахать. «Ты, Санечка...» Вот придумала.

«Санечка...»

Я прислушался и замер от радости. Я...

— Уфф!

Словно в горячую воду нырнул. После обеда мы пахали. Пахали вчетвером.

Мы с Гринькой по очереди, как пьяные, мотались за плугом, а Маринка с Нинкой ввели под уздцы лошадь.

Плуг плохо слушался наших рук. Он, когда начинаешь пахать, становится страшно вертлявым. Его из всех сил толкаешь в землю, а он выскакивает и скользит по поверхности. Вцепишься в него, аж руки посинеют от натуги, а он возьмет да качнется в сторону — и

летишь вместе с ним, ковыряешь носом борозду. Вскочишь и улыбаешься, будто ничего и не случилось. А самому и обидно и стыдно до слез.

Пропотели мы с Гринькой — хоть рубахи выжимай.

Сели отдохнуть. Пить захотелось. Послали девчонок за водой.

— Сань, — загадочно шепнул Гринька и придвинулся ко мне, — а почему, ты думаешь, Маринка так печется о Марфе, а? Почему нас пахать заставила, а?

— Жалко ей старуху. У Марфы в войну мужа и двоих сыновей убили. Одна она. Тяжело ей.

Гринька усмехнулся.

— Нет, Сань, не поэтому.

— Почему же?

— А потому... Марфа нас к Маринке приворожила, а Маринка Марфе помогает. Понял?

— Не знай, Гринь.

Из-за погребушки неожиданно вышла и встала перед нами Марфа.

Желтое морщинистое лицо, горбатый нос. Засаленная телогрейка, черная с серовой заплатой шаль.

Посмотрела на меня, на Гриньку, медленно обвела взглядом свой усад, что-то прошамкала беззубым ртом, тяжело вздохнула.

— Господи, Ваня. Сынки мои. Сгорбилась, устало зашагала к дому.

— Чистая ведьма, — прошипел Гринька, — и бормочет не поймешь что.

Марфа через несколько минут возвратилась. Принесла лошади ведро картошки, а перед нами поставила кринку топленого молока.

— Не вздумай, — Гринька подстерегающе толкнул меня в бок, — опять чего-нито наколдовала.

— Я немножечко, Гринь. Пить страх охота.

Я потянулся к кринке.

Ты что, с ума спятил, — Гринька ударил меня по руке. Кринка упала. Молоко разлилось.

Хорошо, что Марфа в это время была возле лошади, высыпала из ведра картошку.

Поглядывая на нее, мы торопливо зашвыряли белую лужу землей.

Гринька нарочито громко сказал:

— Эх и напились, чисто утопленники.

— Угощайтесь, угощайтесь, сыночки, — ласково отозвалась старуха.

— А мы все, бабушка, — сказал Гринька, — даже брюхо холодное.

— Пейте, пейте. Вас небось бригадир прислал?

— Он, бабушка.

— Душевный мужик. Дай бог ему доброго здоровья. Кажинный год обо мне, старухе, заботится.

— Сань, —дохнул мне в самое лицо Гринька, — давай попросим ее, чтоб она нас от Маринки отворожила.

Я отшатнулся.

— Глупости это, Гринь...

Марфа в это время подошла к нам, поставила пустую кринку и ведро.

— Бабушка, — сказал Гринька, — это верно, что ты умеешь колдовать?

— Брешут про меня разное, сынок.

— А от любви ты можешь отворожить?

— От любви-то?..

Марфа задумалась, осторожно присела на бровку борозды, рядом с нами, и долго-долго не мигая смотрела на стоявшую у двора осыпанную белым цветом черемуху.

— Давно то было, сынок. Молода я была. Красавица. Парни сохли по мне. И подруги из зависти прозвали меня колдуньей. С тех пор и пошло: колдунья да колдунья. А коли навалилась на нас сила нечистая, коли грянула — будь она самым сатаной проклятая — война, бабы приходили ко мне и слезно просили поворожить. И я ворожила, утешала их. Ворожила, а сама по вечерам падала на кровать, схватывала зубами подушку и в голос выла. Трое у меня на фронте были — и ни от кого весточки.

Марфа молча высморкалась в подол юбки.

— Да. Так и не дождалась. Вот эту черемуху Ваня посадил, коли уходил на фронт.

Марфа тяжело поднялась.

— Нет, сынок, грех от любви отречься. Без любви жисть — что по осени ненастье поле — серая, безынересная.

Вторую половину усадьбы мы пахали уже не по Маринкиной просьбе, а по своему желанию.

Пахали старательно.

И напахались. Наутро я едва с постели встал. Ноги и руки словно сухие палки, сгибаешь — трещат.

А в школе новость. Последние два дня наш класс не учится — идет в туристический поход на лесное озеро на рыбалку. Ночевать будем там же у костров, в шалашах.

Как ни болели у меня ноги, но от такого известия я запрыгал по коридору молодым жеребенком.

До лесного озера все пятнадцать километров, да говорят, что с гаком. А сколько в этом гаке, говорят, никто не мерял. Может, ото столько, а может, еще больше.

После занятий я приготовил рыбачьи снасти. Достал с пыльного чердака свои старые, потемневшие от времени березовые удилища. Два для себя и самое любимое — тонкое, длинное — для Маринки. Сменил на удилищах лески, привязал новые острые крючки, покрасил поплавки. Маринкино удилище почистил шкуркой. Червей нарыл полную консервную банку — длинных, полосатых. Надеюсь на хороший клев. Рассчитывал наловить рыбы больше всех.

Вообще я последнее время стал каким-то завистливым. Хочется быть всех умнее, всех смелее, всех сильнее.

Слетали в космос — и меня туда же потянуло. Потянуло — удержу нет. Как засну вечером, так и полетел. Иногда в корабле, а иногда и без корабля. Размахну руки и, как ястреб, парю в небе илис тучки на тучку прыгаю.

А однажды (только вы никому об этом ни гугу — ладно? И особенно Гриньке) мы с Маринкой катались по облакам на лыжах.

Хорошо катались — долго.

Я совсем расхрабрился, забрался на самую высоченную тучу и вниз. Споткнулся да и улетел головой в белое облако. Весь улетел, вместе слыжами.

Барахтаюсь в мягком пушистом месиве, а выбраться никак не могу. Маринка меня за руку вытащила.

Снег с моего пиджака варежкой обила, а с лица и ресниц дыханием сдула. Я даже облизнулся. От ее дыхания на меня теплым парным молоком повеяло. Мне индо есть захотелось.

А она провела по моим бровям своим тонюсеньким горячим пальцем и говорит:

— Зачем ты так, Санечка?

И глядит на меня так грустно, грустно.

У меня аж уши запылали жаркой берестой. И я... я...

Нет, не знаю, что я сделал. Не помню. Проснулся. А жаль.

Хотел доглядеть этот сон на другую ночь, но мне приснилась какая-то чертовщина: Гринька и корова с собачьим хвостом.

Я обязательно наловлю рыбы больше всех. Я должен наловить больше всех. Потому что... Вы и сами знаете почему. Черви-то у меня лучше всех.

Вечером, как только заиграла гармонь, я побежал на бугор на гулянье. Мне не терпелось сообщить Маринке, что я приготовил для нее легкое зыбкое удилище.

А Маринка пришла на гулянье и сказала, что она на рыбалку завтра не пойдет. Сказала, как палкой по голове ударила. Так можно и убить человека.

— Почему? — в один голос простонали мы с Гринькой.

— Грядки в огороде надо копать. Бабушке надо сажать огурцы.

— Можно и потом.

— У бабушки сестра заболела. Она завтра посадит и уйдет к ней в деревню Ключи. Может, надолго. Потом сажать будет поздно.

Маринка обвела взглядом бугор, вздохнула.

— Передайте Вере Петровне, что меня не будет.

Над лесом повис хилый серп луны. У ручья, чему-то радуясь, неистово насвистывал соловей. А на болоте над кем-то безудержно хохотали лягушки.

Невеселое гулянье было в этот день. И ночь была утомительно длинная.

Я это хорошо запомнил. Всю ночь я сидел на крыльце своего дома, всю ночь спорил с лягушками.

— Не ка-ка-ка-красивая, — долетал до меня их говор.

— Нет, красивая, — возражал я, — самая-самая.

— Не ха-ха-ха-хорошая, — кричали лягушки.

— Иди-и-и спать! Иди-и-и спать! — сердито ухал филин.

— Не ха-ха-ха-хорошая!

— Бре-е-ешут, — отозвалась во дворе наша старая овца.

— Ми-и-лая, — повторила за ней корова.

Захлопав крыльями, прокричал петух.

Ночная темнота тяжелела и оседала на пойменный луг густым белым туманом. Небо светлело.

Пора! Я сбросил с ног ботинки и бесшумно на цыпочках пробрался в чулан за лопатой.

В Маринкин огород я крался задворками. Изредка останавливался, прислушивался, приседал на корточки и внимательно озирался. Мне ужасно как не хотелось с кем-нибудь встречаться.

Завтра же вся деревня узнает, что я вскопал в Маринкином огороде грядки.

Пойдут разговоры. Посыплются насмешки. Сгоришь от стыда. А мальчишки... Им только дай повод. Все заборы измажут мелом. Это уж точно. Сам не раз кое-кого рисовал — знаю. У плетня Маринкиного огорода я последний раз огляделся — никого, прислушался — тишина. Только где-то в дальнем конце деревни спросонок лениво тявкала собака. Я облегченно вздохнул. Завернул за угол плетня и вдруг нос к носу столкнулся с Гринькой.

— Ты чегой-то? — испуганно вырвалось у меня.

— А ничего, Сань, так. Гуляю. Помолчали.

Я посмотрел на облезлые носки своих ботинок.

— Гуляешь, Гринь?

— Гуляю, Сань. Не спится. Душно. Да мухи дома здорово кусаются.

— Мухи?

— Ага.

— У нас тоже дюже кусачие. Иной раз так тяпнут, инда на постели привскочишь.

— Вот и у нас тоже, — обрадовался Гринька. — Сквозь одеяло и то кусают.

— Мухи, они такие.

Я снова поглядел на свои ботинки, сказал:
— Скоро солнышко взойдет.
— Не-е-о, Сань, не скоро. Поначалу пастух заиграет.
— Гринь!
— А?
— А пошто ты лопату и грабли с собой таскаешь? Мух отпугивать, да?
Гринька растерялся.
— Это... Знаешь... А ты сам-то зачем с лопатой?
— Як бабушке иду, раннюю картошку сажать.
— А я... А я... Меня вчера вечером Маринка просила гряды...
— Маринка... Гряды... Вчерась...
— Угу, Сань.
— Она же спать ушла.
— Она, Сань, не ушла. Она нарочно. А когда мы ушли, она пришла.
— А ты отколь знаешь?
— А мы, Сань, не совсем ушли. Ты, Сань, ушел, а я вернулся.
— Во-о-о-он что!
— Д-а-а-а, Сань. Мы с ней потом до-олго стояли возле крыльца. Ты на рыбалку-то пойдешь?
— Незнаю, — вяло ответил я, — далеко больно.
— А я обязательно, — радостно сказал Гринька и добавил: — Давай вместе вскопаем в Маринкином огороде грядки, а после к твоей бабушке пойдем.
— Нет. Копай один.
— Я отвернулся и зашагал в густые вишневые заросли.
— Сань! — окликнул меня Гринька и громко захохотал. Ты чего?! — настороженно полуобернулся я. У тебя же бабушка-то в позапрошлом году умерла.

Я не ответил. В конце деревни, тоскуя о чем-то, грустно заиграл рожок пастуха.
Подойдя к крыльцу своего дома, я бросил в угол к плетню лопату, вошел в коридор, снял со стены старую отцовскую телогрейку, расстелил ее на полу, лег на нее и заплакал. Утром меня разбудил отец.
— Сынок, вставай, в поход пора.
— Я не пойду, пап.
— Раздумал?
— Ноги болят, пап, что-то.
— Ну вот. А я тебе и котомку было с провизией припас.
Я съезжился и молча повернулся на другой бок.
— Не пойдешь, значит?
Я замер. Горло сдавила сиротливая жалость к себе. В углу коридора белело ошкуренное удилище, припасенное для Маринки.
Второй раз я проснулся почти уже в полдень. Проснулся от того, что кто-то тихо ворошил мои волосы. Я улыбнулся. Приоткрыл один глаз — Маринка.
— Сань, я уезжаю.
— Куда?! — Я извернулся и мигом вскочил на колени.
— За мной папа приехал. Мы на юг уезжаем. Отдыхать.
...Край нашего деревенского поля. Сухая земля. Забытость.
Одиночество.
Маринкин отец догадливый. Попрощался и ушел немного вперед. Оставил нас одних.
Четверо нас — и неловкое молчание.

Мы с Гринькой босыми пальцами ног чертим на пыльной дороге нехитрые фигуры.
Нинка стоит в сторонке.

— До свидания!

— До свидания!

— До свидания, Санечка!

Я вздрогнул и неуклюже протянул Маринке руку. Маринка шепнула:

— Спасибо за грядки, это ты их вскопал, я знаю. Ты хороший.

Я насупясь смотрел в землю.

— Я тебе с юга письмо пришлю. Я... Жди.

Серая дорога. Красное платье. Горькая полынь.

— Врешь ты, Гриньк, что она просила тебя вскопать грядки.

— Это мне, Сань, приснилось. Сдавленный плач.

Мы обернулись и стыдливо нахохлились.

Плакала забытая нами Нинка.

Гринька подошел к ней и тронул за руку. Нинка вытерла слезы и робко, благодарно улыбнулась.

Под моими торопливыми ногами задымилась теплая дорога.